

Духовная проза

Владислав Бахревский

СТРАСТОТЕРПЦЫ



Духовная проза (Вече)

Владислав Бахревский

Страстотерпцы

«ВЕЧЕ»

1997

Бахревский В. А.

Страстотерпцы / В. А. Бахревский — «ВЕЧЕ»,
1997 — (Духовная проза (Вече))

ISBN 978-5-4484-8057-7

В романе «Страстотерпцы» известный писатель-историк Владислав Бахревский снова обращается к периоду русской истории, уже показанному в романах «Аввакум» и «Боярыня Морозова», – периоду раскола Русской церкви в XVII веке. Многострадальный протопоп Аввакум, его последовательница Федосья Прокопьевна Морозова, царь Алексей Михайлович, царица Мария Ильинична, патриарх Никон и другие по-прежнему вовлечены в противостояние между «старообрядцами» и «новообрядцами». Но если раньше казалось, что перевес на стороне нового порядка и любое сопротивление приведёт к гибели, то теперь «Никоново собинное наваждение» как будто кончилось. Раньше судили и преследовали Аввакума и других раскольников, а теперь всеильный и всеправый Никон сам под судом.

ISBN 978-5-4484-8057-7

© Бахревский В. А., 1997

© ВЕЧЕ, 1997

Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	53
Глава третья	95
Конец ознакомительного фрагмента.	98

Владислав Бахревский

Страстотерпцы

В оформлении обложки использована картина художника В.Г. Шварца «Патриарх Никон в Новоиерусалимском монастыре», 1867 г.

Знак информационной продукции **12+**

© Бахревский В.А., 2019

© ООО «Издательство «Вече», 2019

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019

Сайт издательства www.veche.ru

Глава первая

1

По левую руку степь – белого света стена, и по правую руку – даль земная, высота под-небесная. А покоя нет. Ломят днище волны, будто по камням скаканье – ретивая река под дощаником[1].¹

– Ермак[2] до Иртыша, а протопоп[3] с протопопицей, с малыми ребятами – аж до Нерчи!

– Притихни, батька! – всполошилась Анастасия Марковна. – Не страшно ли так говорить?

Аввакум поскреб голову.

– О верстах, что позади, не страшно. Про те, что впереди, – сердце у меня под замком.

– Греховодники мы с тобою, батька! – вздохнула протопопица. – Как дымком потянет, так и встрепенусь: не русской ли избою пахнет?

– До русских дымов – на солнце нажаримся, на морозе нахолодуюемся. Но хоть ты меня поделом оговорила – половина дороги давно позади. Не хвастаюсь я, Марковна, – удивляюсь! Сколько открыл нам Господь! Воистину не мерена земля православного царя, не считаны его угоды, его кладези. Вот достигли мы с тобой Иртыш-реки. А что он такое, Иртыш? Порог в русские сени. Царев двор – до самих Даур[4], поместье уж за двором, а где этому поместью околица, одному Господу ведомо. Не хмурься, Марковна! Сам чувствую, не к добру разговоришься. Довел бы Господь до Тобольска. Ничего, кажется, нет желаннее прежней нашей тюрьмы.

– Батька! Батька! Тебя как прорвало. Господи, да не будь бешеного Струны, который с тобой мялся и дрался, и на тебя донос сочинил, плохо ли в Тобольске жили? Не про всякого архиерея такой достаток, такая слава, какие Бог тебе давал.

Аввакум перекрестился и снова поскреб голову.

– Верно, матушка. Пустобрешество от сатаны. Покличь деток, славу Господу попоем...

– Уж скоро вечерню служить. Давай в голове погляжу.

– Поищи, – согласился протопоп. Положил голову на теплые лядвы милой жены.

– Сколько волосков-то седых! – сказала Анастасия Марковна, а на Аввакума от слов этих горячих теплом повеяло.

– То морозы даурские прочь выходят.

– Протопопице ты мой ненаглядный! Все тебе нипочем!

– За-ради себя на что годимся, Марковна? Ради Бога терпим. Я вот глаза прикрыл, ложась на колени твои, и знаешь, что пригрезилось? Дуб Мамврийский![5]

– Эко!

– Да вот. Сидят рядком: Отец, Сын, Дух Святой и овечка перед Ними в чаше, Авраамом поднесенная. Помнишь сказанное под тем дубом: «Есть ли что трудное для Господа?» Марковна, оглянись на пережитое – ведь уж ничего не страшно, а многое так и смешно. Каким Перуном Пашков-то[6] громыхал перед нами, грешными. Каким теперь ягненком травку будет щипать.

– Не смешно мне пережитое, протопоп. Двух сыночков мы там оставили... Страшное страшно. На песочке сына оставили...

– Нёлюди мы были от голода, Марковна, подобно царю Навуходоносору[7], который семь лет жил, яко зверь. Навуходоносору Господь царство вернул, нам же возвращает родину милую, Русь. Ой, река Иртыш, шевели волною! Домой скачем.

¹ Примечания см. в конце книги.

Пальцы Анастасии Марковны, перебирая волосок за волоском, баюкали, солнце грело щеку. Протопоп вдруг заснул коротким, не ведающим времени сном. Увидел орла с двумя головами. Взял орел одной лапой его, другой – матушку протопопицу, понес в белую страну. Являлись на небе письма, но прочитать их не умел, грехи свет застали.

Пробудился в томленье.

– Ты уснул, – сказала Анастасия Марковна.

Аввакум, напуганный сном, хлопал ресницами: рассказать бы, да Марковна этокое возьмет в голову, беды станет ждать.

– Зови детей, помолимся.

Пришли Иван, Прокопий, Агриппина принесла крошечку Аксиньцу, Марковна за ручку привела Акулину. Собрались казаки и бабы, ехавшие с протопопом из Нерчи, из Енисейска, из Омска.

Иван статью – отец, голосом – отец, а лицом в Анастасию Марковну. Девятнадцатый год парню. Прокопия увозили из Москвы пяти лет от роду, и вот уж пятнадцать. Дорожное дитя. Двух мальчиков Бог взял, двух девочек дал.

Агриппине восемнадцать, замуж пора, да нет конца дороге. Уплывает земля за спину, утекают дни золотые.

Служил Аввакум сугубо[8]. Голоса поющих отражала река, и небо было их церковью, и птицы, как ангелы, вторили молитвам.

Возгласил протопоп:

– «Всех нас заступи, о Госпоже, Царице и Владычице, иже в напастех, и скорбех, и болезнех, обремененных грехи многими».

Тут и повернул дощаник за утес – Боже Ты мой! На берегу мужики с луками, с саблями. На конях скачут, к лодкам бегут.

– К берегу! – крикнул Аввакум кормщику. – Скорей к берегу заворачивай!

Сам на носу стал. В левой руке крест, правой – знамение творит, благословляя бегущих на него с оружием.

Ступил на землю, улыбаясь, распахнув объятия.

– Христос со мною! Да благословит вас, как благословил меня!

Обнял первого встречного, троекратно расцеловался с мрачным воином, державшим наготове лук и стрелу. Коснулся крестом головы начальствующего над воинами.

– Есть ли товары пригожие? Куплю, коль не больно дорого.

Татары переглядывались, но на дощанике появилась Анастасия Марковна с ребенком на руках; недоверие таяло, как снег на апрельском солнце.

Татары, пошумев меж собою, принесли на продажу снедь, шкуры, ремесла. Пришли женщины, поднялись к Анастасии Марковне на дощаник. Потчевала гостей едой, вином, ласковыми словами. «Лицемерилась», сказал в своем «Житии» Аввакум, но не поскупился на похвалу: «Как бабы бывают добры, так и все о Христе бывает добро».

Товары иртышских татар оказались залежалые. На Руси о таких товарах говорят: м е д в е д ь. Но Аввакум виду не подал, купил много, платил, торгуясь, и тем тоже порадовал татар. Восток чтит умение сбивать запрашиваемую цену до разумной.

Расстались довольные друг другом, отдавая хлеба и соли, радуясь, что не пролилась напрасная кровь.

В Тобольске приплывшему сверху дощанику сильно удивлялись. Только теперь узнал Аввакум, что по всей Сибири идет большая война с башкирцами и татарами. На Оби на таком же дощанике человек с двадцать побито русских мирных людей. Какой торг, когда можно ограбить?!

– Счастливым ты человек, протопоп! – сказал Аввакуму воевода Иван Андреевич Хилков, сын Андрея Ивановича, спасавшего Аввакума от Струны.

Иван Андреевич радовался за протопопа. Строптивец великий, но ведь и претерпел гору! Да и как было не радоваться воеводе, когда страдальца в Москве ждали. Царь ждал, царица! Никоново собинное наваждение[9] кончилось!

Архиепископ Симеон, благоволивший Аввакуму и во времена гонения, поселил протопопа в большом теплом доме, дал хлеба, меда, дров.

Тобольск покидать опасно из-за немирных татар, да ведь и осенние хляби уж на пороге.

От Москвы до Тобольска десять лет тому назад проехали, проплыли две тысячи шестьсот десять верст, так ведь от Тобольска до Москвы столько же. Серьезная дорога, не терпящая поспешания.

2

Первый гость на первый пирог – романовский поп Лазарь[10]. С Лазарем Господь свел не в Божьем храме – в царевой тюрьме. На другой год, как обольстил Никон царя[11], оба взвалили крест на плечо за правое-то слово, за веру непоколебимую...

– Угодные мы Богу люди, коль Сибирь про нас, – сказал Лазарь, благословляясь у протопопа.

Расцеловались, поплакали.

Лазарь лбом – как солнышко, поросль на лице рыжая. Нос – луковичкой, а нижняя челюсть от Бабы-яги досталась, губа губу прихватывает. Сердитый с виду человек, но уж такая младенческая бирюза в глазах – сто раз поглядишь, сто раз изумишься.

– Давно ли ты в Сибири, батюшка? – спросил Аввакум.

– На апостола Ахилу – третий год почну.

– Совсем новый. Как Москва живет-здравствует?

Все волосенки на Лазаре взъерошились, стал жила жилой.

– Все сорок сороков на месте. Звонят, как к празднику.

– По самим себе.

– Истину, протопоп, проглаголил. По самим себе. Из-за сладкого куса госпожа Москва душой всегда готова поступиться. Было в Смуту, было при Грозном царе... И раньше то же самое! Жидовскую ересь холила, татар ублажала. – Поп кивнул на свой мешок у порога: – Позволь тебя попотчевать чем Бог послал.

Вытащил из мешка полуведерный горшок, замазанный сверху печеным тестом, и другой горшок, с крышкой. Снял крышку – груздями пахнуло, взломал корку – затопил горницу зело сильный дух.

– Грибищи и винище, батька!

Пироги в печи не успели, и Анастасия Марковна, благословясь у Лазаря, поставила сковороду с каурмой – иртышские татарки в дорогу дали. Каурма – вяленая баранина в бараньем жиру.

– С половиной дороги, батька! Со здоровьем! – молвил поп Лазарь, опрокидывая первый ковш. – Нахолодался небось в Даурах стоеросовых!

– Нахолодался. Ты про Москву сказывай. Нам все в новость.

– Семена Башмака помнишь? Ведал пушной казной в Сибирском приказе. Постригся в Чудовом монастыре, да не утерпел, подал царю грамотку: русскому-де языку, государь, теснота от греческого, защиты, надежа ты наша! А надежа только и ждет, кто ему правдой глаза поколет. Спровадил Башмака в Кириллово-Белозерский монастырь.

– Никона-то уж нет?! Чего же ради?! – удивился Аввакум.

– Вот и смекай!

– Сколько помню, царь – добрая душа, да больно доверчив. Я тебе, Лазарь, так скажу. Быть православным государем – великое испытание. Православный государь для сатаны все

равно что праотец Адам. Сатана со дня творения завидует Богу за человека, ибо человек подобен Богу!

– Да не Бог!

– То-то и оно. Соблазнить Адама – украсть у Бога весь род человеческий, соблазнить православного царя – погубить разом все Христово стадо. Кровью Христа выкупленное!.. Беречь нужно русского царя, а мы его – надо, не надо – поносим. Отдаем сатане за чох!

– Видно, не больно тебя мытарили в Даурах! – взъярился Лазарь. – У царя без тебя защитников много. Ругнешь в сердцах – рука-нога долой, да половину языка в придачу. Знаешь, как в народе про царя-то сказывают? Не знаешь? Вот-де когда Алексей Михайлович из утробы вышел, отец его, царство ему небесное, так сказал: «Не наследник родился престолу: родилась душам пагуба».

– Что за дикое измышление?!

– Ты дослушай, батька!

– Что за дикое измышление?! Царь у них – сатана, стольный град – Сатаниил. А мы-то кто же, народ православный? Сатанинские пособники? Господи, урежь им всем языки! Урежь, Господи!

– Аввакум, милый! Батюшка, ну, что ты на меня напасть зовешь? – заплакал вдруг Лазарь. – Урежут мне язык, много тебе радости прибудет?

– Батька! – не сдержалась Анастасия Марковна. – Лазарь верно говорит... Дослушай, потом и казни.

Аввакум бухнул на стол локти, подпер голову кулаками.

– Слушаю.

Кротко помаргивая глазами, поп упрямо продолжил историйку:

– Говорят, оставил по себе добрый царь Михаил Федорович[12] рукописаньице... Назвал день и час, когда явит себя в Москве, в Тереме царском, – трехглавый змий. Заповедал сыну накрепко: в тот день и час, в минуту страшную, горькую, снарядись, царь-сын, как на битву, защити голову шлемом, тело броней, достань саблю из ножен, стой у двери царских своих палат и, как явится змий, так тотчас секи все три поганые головы... И то было! Был день, и час, и та горькая минута. Встал Алексей Михайлович у дверей с саблей и уж замахнулся было, а вошел-то патриарх Никон. Царь-то и обрадовался, забыл отцово завещание.

– Н-ну! – хмыкнул Аввакум. – Рассказчики!.. По заслугам воздано... А мне все равно жалко царя... Коли змий теперь на цепи, верно, опамятуется голубь. Не попустит Господь увлечь сына в бездну, коли и отец и дед праведники.

– Не прошибись, батюшка, со своей жалостью, – повздыхал Лазарь. – Тут у нас еще один защитник сыскался. Его в Сибирь, а он великому государю славу поет, как тетерев, глаза зажмуря. Не слышал о Крижаниче?[13]

– Не слышал.

– Премудрый муж. Приехал от многих стольных городов учить Москву уму-разуму, а его цап – и в Тобольск.

– Латинянин?

– Латинянин.

– Ну и чего о нем говорить?

– Нет, протопоп! Крижанич – душа живая! Он, как пономарь, со свечой на Русь явился.

– На себя бы и посветил.

– Не ворчи, батька! Послушай! Крижанич дурного России не желает. Вознамерился, широкая душа, все роды славянские собрать в единую семью, под руку белого царя. Я с ним о многом кричал.

– Докричался ли?

– Я, Аввакум, радуюсь, когда о нас, русских, о судьбе нашей думают. Что судить человека, если он родился в басурманской земле? Не лучше ли благословить? Стремясь душой к России, Крижанич, дабы ей полезным быть, учился грамоте где только мог... В Вене, в Риме...

– Вот-вот!

– Он хорват, а познал языки: немецкий, итальянский, испанский, латынь, греческий, турецкий, венгерский, русский... Хотел учить московских людей красноречию, стихосложению, грамматике, казуистике, философии, математике, истории. Хотел склонить нашего государя пойти на османского султана.

– Чужими руками жар загрести. Латинянин твой Крижанич. Не о душе помышляет. Отдай ему в заклад русскую душу, а он ее сатане поднесет.

Лазарь от обиды за Крижанича потемнел лицом, осунулся, и только в глазах бирюза.

– У наших-то, у православных, заботы, верно, не чета заморским... Знавал я одного архиерея. По утрам в колокола любил звонить, а как ночь – он в баню, на баб глядеть. И чтоб всякая показала ему срамное свое. Бог с ним, с греховодником, но бабы-то рады были... показать. За малую, за тесную – давал по три алтына... В другом месте, в Порухове, отец дьякон петухом служил. Мужики там нищенством промышляют. Как полая вода сойдет, мужики – из дому, а бабы – к дьякону. Поверишь ли, его бесовскую мощь из теста пекут, друг дружку угощают.

– Пакостен у тебя язык, Лазарь!

– Русь бесится, а Лазарь виноват... Я, что ли, с дочерьми живу, со всею полудюжиной? А таков мужичишка здесь, в Тобольске, обретается. Протопоп ты, протопоп! Забыл, небось, про житье-бытье русское? Для помещика первая дань – взять девство. Подавай господину сокровенное, сам стыд. Кобель на кобеле, а виноват поганый язык Лазаря!

Заплакал Аввакум. На колени встал перед попом.

– Прости ради Бога! Через десять лет встретились – и ругаемся. Господи, что мы за люди такие?! Неистовое племя!

Лазарь припал головою к плечу протопопа и тоже обливался слезами, как дитя.

– Устал я, батюшка! Не вижу исхода. Верить ли, пропасть хочу.

– Пропасть – дурное дело... Мы с тобой, поп, за Христа постоим. За Слово! За Любовь! Анастасия Марковна принесла пироги.

– Боже ты мой, плачут!

– То хорошие слезы, матушка! – улыбнулся Лазарь.

– Как детушки, как жена поживает? – спросила Марковна.

Помрачнел Лазарь.

– Матушка по романовскому луку слезы льет. В Романове лук хороший. Головки с голову младенца. Растил и я с матушкой лучок, радовались, сколь велик, сколь горек, теперь вот плачем...

3

Жизнь – река, взгоды и невзгоды за поворотом. Кого на стрежень вынесет, кого на мель посадит. На всякую душу у Господа своя река.

Десять лет Аввакум под елкой Богу служил. Вымолил милость, отворил ему Господь двери дома Своего. Пришел от архиепископа Симеона келейник.

– Приготовь себя, батюшка! Будешь литургию служить.

Коли прост поп, душу прибирает просто. Наложит пост на супружеское ложе, запретит себе есть хлеб-соль, все житейское из головы долой – вот и чист.

Тяжело тому, кто книжностью обременен, для кого сладок вкус вчерашнего пирога, а не того, что во рту.

Аввакум помолился, Евангелие от Луки почитал. Любимое место: «И пришли к Нему Мать и братья Его, и не могли подойти к Нему по причине народа. И дали знать Ему: Мать и братья Твои стоят вне, желая видеть Тебя. Он сказал им в ответ: мать Моя и братья Мои суть слушающие слово Божие и исполняющие его».

На себя прочитанное перекладывал, горевал о себе. Со своими страданиями готов к Христу в горницу, распахивая святых отцов, влезть, с учениками Его избранными возлечь, как равный; а Господь-то и говорит: со всеми встань, ибо даже Богородица со всеми стаивала. Слушай, дурень, слушай, гордец проклятуший, да исполняй.

Призадумался о Пашкове вдруг. Много войны претерпел Аввакум, сам бит, детей до смерти довел, а ведь пропустил бы мимо ушей воеводское надругательство над Христом, детишки бы живы остались. Коли Христос молчит, что же на рожон-то лезть?! Мыслимо ли дьявола спасти от его мерзкого житья...

Смирал себя Аввакум, смирял да и брякнул:

– Господи, пошли мне, грешному, Афоньку в монахи постричь!

Громко сказал. У Агриппины и сорвись с языка – под окном сидя, пшено для каши перебирала:

– Батюшка, ужас какой говоришь!

– Это про отца?! Это отец ужас говорит?! – Длань протопопы обрушилась на голову девицы.

Удар получился сильный. Агриппина стукнулась затылком о стену, охнула и стала валиться с лавки. Будто лебедь к лебедю, кинулась через всю горницу Анастасия Марковна, подхватила дочь. Тут наконец и Аввакум опаматовался:

– Господи, злодей окаянный! – Подбежал к Агриппине, лежащей на руках матери. – Смилуйся, голубица! Не кляни отца!

Агриппина открыла глаза.

– Прости меня, батюшка!

– Я-то прошу! Простит ли меня Господь? – Плюнул на руку. – До чего же ты быстрая! И кресты творить, и тумачи отпускать! Нет тебе от Иисуса Христа благословения быть у жертвенника.

Принес Агриппине черпак воды. Дочь поднялась, попила. Заплакала, опускаясь перед отцом на колени.

– Батюшка, испугалась я! Лицо-то у тебя было...

– Зверь! – согласился Аввакум. – Зверь и есть... Пашкова помянул – вот она и беда на порог. Сатана!.. Господи, смилуйся! Пойду к Симеону, покаюсь. Сам себя от литургии отставил. Простите меня, если можете.

Вставал на колени перед домашними, кланялся до земли. Архиепископ же наложил на протопопу трехдневный строжайший пост, одну воду разрешил пить. Аввакум пост удвоил, жил в бане. Об отце молился, пьянице горьком, плакал о неистовстве своем. Попади рука по темечку али в висок, ведь убил бы Агриппину. Навзрыд плакал, о душе горяя, и все повторял: «Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? Полною ненавистью ненавижу их: враги они мне». И прибавлял: «Господи! Я сам первый враг себе, погубитель вечной души. Сам отвернулся от солнца, сам погружаюсь во тьму и утонул бы во тьме, если бы не милость Твоя, не всепрощение Твое, Господи!»

Приготовил себя Аввакум быть у жертвенника ко дню Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Любил протопоп Иоанна ласковой любовью. Ходил Иоанн в одежде из верблюжьего волоса, питался акридами и диким медом. Распознал Иисуса Христа среди народа и видел Духа Святого.

Печаль обвивала протопopa вo дни скорбного праздника Усекновения главы. Не Ирода Господь взял, но Иоанна. Первая искупительная жертва, предтеча Всевышней жертвы – Сына Божия.

Не горлом, не дрожанием языка в гортани произносил Аввакум слова молитв и не сердцем. Нет, не видел он Духа Святого, но на дыхании своем чувствовал присутствие Господа Животворящего. Так явно чувствовал, что страшно стало. Шептались прихожане:

– Робок батька Аввакум. Против Никона стоял – не боялся, а Богу служит – ужасается.

Ложась спать в ту ночь, сказал Аввакум Анастасии Марковне:

– Признаюсь тебе, голубушка, истосковался без церкви. Стою нынче в алтаре и чувствую себя как в утробе материнской – отовсюду защищен! Всякая жилочка во мне, вся кровь моя, вся плоть ограждены любовью.

– Петрович, и я тебе скажу, – призналась Анастасия Марковна, – иконы на меня глядели сегодня глазами батюшки моего, матушки, сыночков наших. Стою на виду у них и чувствую, грешница, рады они за меня. А пошла прикладываться – к живому прикасаюсь.

4

Кто ищет лучшего, тот счастья не изведает. Тайна тайн благополучия – в благодарности за дарованную жизнь, за детей, за домочадцев, за труды, за крышу над головой, за хлеб-соль.

Садилось обедать семейство Аввакума. Под иконы – протопоп, по правую руку отца – Иван, по левую – протопопица, за Иваном – Прокопий, за Анастасией Марковной – Агриппина, Акулина, крошечка Аксиньяца. Дальше, за Прокопием да за Аксиньцей, – домочадцы, и первая среди них хлопотунья Фетиния – вдовица. Всего двенадцать душ.

Помолились. Протопоп благословил пищу.

– Вкусно! – приговаривал Аввакум.

– Вкусно! – вторила Акулина и, стараясь во всем походить на батюшку, жмурила глаза.

Все смеялись.

Когда делили мясо, пришел поп Лазарь.

– Вовремя! – обрадовался гостю Аввакум. – Дай-ка ему, Марковна, ногу.

– А крылышка не осталось?

– Много ли в крыле мяса?

– А я косточки люблю пососать... За тобой, батька, пришел. Не желаешь ли порыбарить?

Есть протока на примете, хариусы стаями ходят.

– Хариус – сладкая рыбка, – сказал Аввакум, а Акулина тотчас глазки сощурила.

– Поспишь после обеда и будь готов. Заеду. Корзину бери. Груздей наберем.

– А вечерня?

– Ох, батюшка! Неужто не накушался никониянской яствы? С души не воротит?

– По храму я, Лазарь, истосковался. Ругаюсь с Симеоном за новины[14]. Вместо семи просфор – пять! «Чего ради?» – кричу. Молчит. Все молчат.

– По-новому для воеводы служат. Отойди от воеводина двора подальше, так всюду моление прежнее, истинное. По-новому молят Бога те, кто от царя кормится. Кому о душе печаль, окраинные церковки краше архиерейских соборов.

На второе подали кисель из смородины. Чтоб каждому вволю досталось, Анастасия Марковна целую лохань наварила. Акулине ближе всех тянуться, да черпать трудно. На коленки взгромоздилась. Аввакум любимице ни полслова. Посматривает. Ложка у него, как половник, черпнет и похлебывает помаленьку. Акулинка на отцовский половник быстрыми глазками глянет-глянет и ложечкой своей туда-сюда, туда-сюда, как стрекоза крыльями, – не углядишь. Наконец все насытились, отвалились блаженно. Аввакум сказал:

– Акулинка хоть мала, хоть и спешила, да не ради того, чтоб больше съесть, а чтоб быть на всех похожей. Радовалась, глядя, как другие кисель уписывают. Быть тебе, Акулина, ходатаем за людские немочи и радости перед Господом. Тебе, Прокопий, трудно будет в жизни. За своим столом – несмел. Лохань вон какая, а ты досыта себя не накормил. Сатана, что за левым плечом стоит, заплачет из-за тебя, Прокопушка. Ну ладно. Бог напитал, никто не видал.

– Батюшка, о нас-то с Иваном скажи! – обиделась Агриппина.

– Ты – матушкина дочка. Дай тебе в семейство все царство русское необъятное – не испугаешься, примешься хлопотать, как ласточка. Об Иване сказ совсем короток: стена.

– Батяка! – поднялся из-за стола Лазарь. – Собираться пойду. Лошадь надо накормить перед дорогой. – И вдруг спросил: – Крижанича-то позовешь? Он о тебе спрашивает. Великий охотник споры спорить.

– Было бы о чем.

– Не гордись, батяка! Крижанич многое повидал на своем веку, а уж сколько им книжек читано! Есть ли столько в Москве, может, и нет.

– Пускай приходит на рыбку. Похрустим жареными плавничками да хвостиками.

Лазарь так и просиял.

5

Ловили на веселой, коряжистой, каменистой речонке. Сели рядком, чтоб поговорить, но какой разговор? У Лазаря поплавок с глазами. Только удочку закинет – тяни, вот он, хариус! От Аввакумова поплавка до Лазарева сажень, и хоть бы дурак какой шевельнул наживку. Будь ты колодой дубовой – треснешь от досады. Аввакум удочку носом в дно ткнул и отвернулся от реки.

– Давай местами поменяемся, – предложил Лазарь.

Поменялись. И опять у Аввакума поплавок – покойник, а у Лазаря – живец.

– Если уж меняться, так удочками! – не вытерпел наказания Аввакум.

И диво дивное: Аввакумова удочка в руках Лазаря как проснулась – хватает хариусов почем зря, а поповская уда в протопоповой длани уж так раздремалась, что волны и те, кажется, стороной пошли.

– Лазарь, что же это за наваждение? – изумился Аввакум, вернул свою удочку, смотал, перешел на другое место. Не клюет. Позвал Лазаря.

– А ну-ка, здесь закинь!

Лазарь закинул и поймал золотого линя.

– Ладно, – сдался Аввакум. – Ты рыбацый, а я на зарю погляжу. Такая Божья красота, нам же все недосуг. Я, Лазарь, когда по рекам плыли, – лягу, бывало, пластом на дно дощаника и смотрю на небо и не могу насмотреться. Во всякое мгновение у Господа на Небесах Его – новое чудо. Сходятся облака, расходятся. Одно – темно, другое пышет светом. И на воде перемена на перемене. Волна плеснет, блеснет и укатилась, а уж новая, как невеста. Думаю, и на земле такие же перемены, на деревьях, на травах, все же ведь растет, цветет и отцветает. Рассмотреть хорошенько не умеем...

Взял удочку, пошевелил, а леска упирается.

– Ну вот, крючок зацепился.

Потянул в сторону, а вода как каменная.

– Поймал! – закричал Лазарь. – Не упусти, Бога ради!

Еле-еле вытянули саженого тайменя.

Лазарь ликовал:

– Вот она какая, твоя удача, Аввакум. Сотня моей мелкой – твоей рыбе уж никак не чета.

– Чета! – улыбался Аввакум, ужасно довольный. – Хариусы тайменю чета.

Утра дожидались у костра.

– Скажи мне, Аввакум! – пустился в разговоры Лазарь. – Вот восстали мы на Никонову прелесть, на его новины, но ведь многое не только в службе, но и в таинствах знало перемены. В древности новокрещенные надевали белые одежды, не снимали до восьмого дня, а на восьмой день священник своими руками омывал крестившихся.

– Так ведь в те поры крещение входило в состав пасхального богослужения. В канун Светлого дня крестили, раз в году. Потому и святы Вселенские соборы, что устроили церковную жизнь, как Господу угодно. Никон же вломился медведем в дом Господний, когтями убранство в ключья разодрал, на стены кидался как бешеный. Дом Господа несокрушимый, но след когтей не смоешь, не забелишь, то когти дьявола.

– Сказано у Матфея: «Восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Неужто к нашим временам сие приложимо? Я, Аввакум, не дьявола боюсь, самого себя. Станешь этак прикладывать, Никону уподобишься.

– Не уподобишься, если чтить Слово Божие. Господь повелел: «Не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель... И отцом себе не называйте никого на земле... И не называйтесь наставниками...»

– Аввакум! Я бы рад жить, как все, да ведь пастырем наречен!

– Вот и паси. Человек не ангел, человек есть плоть. Богом сотворенная. Ради плотского о чем только Бога не молим, а Он одного просит: не затворяйте Царство Небесное человекам.

Костер угасал, смашивало сном, но спал Аввакум по-куриному. Вздремнул – и выпался. Глядел на звезды. Ни единой прорехи в небе. Будто цвели яблони и унесло цветы в омут, до краев засыпало. Кружит ночь небесные воды, кружит белый цвет, а сверкают лишь капли, сорвавшиеся с тех вод. Страшная картина! Ты – свидетель верчения небесного, но тайну сию мыслью не объять и душою к ней не прилепиться. Одно дано – смотреть, ужасаясь и тоскуя тоской любви.

Лазарь спал сладко, положив под щеку ладонь.

Аввакум поднялся, берегом реки прошел через заросли кипрея и, укрытый кипреем даже от глаз зверя, молился.

– Господи! – просил протопоп. – Вразуми! Претерпел за Слово Твое, за Истину Твою. Пережил лютый поход, смерть детей и всякое. Господи, а люди живут, как жили. Молятся, не боясь Тебя, а боясь властей. Никто за отступничество не наказан. Наказаны, кто остался с Тобою, Господи. Господи! Чья правда – правда?

Кланялся без счету, пока не рассвело.

И увидел на горке, а она вот, горка-то, – медведь, глядя на него, кланяется. Махнет лапой у морды и башкой в землю.

Вздрогнуло сердце, не ради страха перед зверем – от предчувствия. Как сквозняком прохватило. Ушел через кипрей к потухшему костру, лег на свое место и заснул.

Лазарь его разбудил: ушица сварилась. Похлебали. Пошли грибов нарезать.

Груздей было множество, Аввакум подряд брал, лишь бы гриб не попорчен. Все под ноги глядел, а когда корзина наполнилась, поднял глаза – боровики! Полком стоят. Полковник впереди, шапка с заслонку и набекрень. За полковником ребята все серьезные, крепыш на крепыше.

Пришлось Лазаря на подмогу звать.

– Ну, батька, счастье у тебя основательное! – говорил весело Лазарь. – Коли рыба идет, так большая, коли грибы – так нашествием.

– Мне и по шее дают не рукою – оглоблей, – согласился Аввакум.

6

Нажарила Анастасия Марковна хариусов, грибной икры наделала, не стыдно гостя принять. Послал Аввакум за Крижаничем. Встречать вышел на крыльцо.

Крижанич уже издали разулыбался. Уже приготовленное приветствие щекотало ему язык, как вдруг на первой же ступеньке Аввакум осадил пришедшего жестом и словом:

– Стой где стоишь! Не подходи, говорю. Прежде признайся, какой ты веры...

Окатила обида ушатом кипятка: у хорватов кровь горячая. Но сдержался ученый муж, ответил смиренно:

– Отче честной! Верую во все, во что верует Святая Апостольская Соборная Церковь. Иерейское благословение почту за честь. Окажи мне сию честь, прошу тебя.

– Веры, веры, спрашиваю, какой?! – крикнул Аввакум сверху.

– О своей вере архиерею скажу, коли спросит. Уж никак не первому встречному, к тому же еще и сомнительной веры...

– Сомнительной? – усмехнулся Аввакум. – Прислали еще одного черта людей смущать!

Ушел, хлопнув за собой дверью.

Крижанич стоял у крыльца, онемев от позора. Превозмог и ярость свою, и смятение свое. Поворотился, пошел прочь, сокрушенно качая головой.

Каковы эти русские! Голосят, что никто их не любит. Себя бы научились любить. Этот протопоп самого Христа осудит за то, что позволил Марии Магдалине ноги поцеловать. Им кнут и тюрьма в радость. Есть чем кичиться. Тяжелый народ, невежливый.

7

На хариусов иной человек поспел. Крижанич с глаз долой, а на порог гостя. Монашенка... с двумя малыши детьми. Один ребенок в пеленках, другой тоже на руках.

Вошла в дом и – к батюшке. Положила младенцев на пол, к его ногам.

– Вот казнь моя! Грех, какого не токмо черными ризами, но и власяницей не отмолить.

– Анна! – узнал Аввакум свою духовную дочь, молитвенницу прилежную.

– Агафья в иноцех! – поправила монашенка. – С месяц как Агафья... Не одолела я, батюшка, сатану. За хозяина моего замуж пошла, за Елизара. Вот он, грех, – убиение девства моего.

– Что же, помер Елизар, коли постриглась?

– Слава Богу, жив-здоров!.. Отпустил, сжалился, глядя, как мечусь между Богом и печкой... Негожая из меня жена... Совсем-совсем плохая.

– Помню, как на правиле с тобой стояли. Неистова была в поклонах. Я – тыщу, ты – две, я – две, ты – три.

– Любила Бога, да променяла на Елизара.

– Молчи, дурища!

– Молчу, батюшка! – упала в ноги, плача, охая.

Детишки с перепугу заорали. Прибежали домочадцы.

Монашенка кланялась каждому в ноги, прощения просила. Анастасия Марковна подняла детишек, унесла на другую половину дома.

– Блудница я, батюшка! – распалила себя Агафья. – С молодых лет похоть свою нянчила, на Елизара глядя. Он меня девочкой из полона выкупил, у кумыков... Елизар с женою жил, а я, сучка, завидовала... Богу с тобой молилась, а сама ждала, когда Елизар овдовеет. Тебе говорила – постричься хочу, а хотела беса в себя! Прости, батюшка, коли есть мне прощение.

– Тебя бы палкой, да помню, как спала ты три дня кряду да сон твой о палатах Аввакумовых... Может, тоже брехала?

Монашенка рухнула на колени.

– Упаси Боже! Водили меня ангелы по твоим палатам, батюшка. Стол белый, со многими брашнами!

– Ой, дура ты, дура! Господь ей ангелов шлет, а она от ангелов к мужику под бок!

– Грех! Грех! Деток единокровных – не люблю... Убей меня, батюшка!

– Сама в геенне и меня тянешь? Руки у меня чешутся отколотить тебя за язык твой поганый, за брехню твою. Помню, как лбом пол ломила: клялась сохранить девство непорочно Христа ради... Да что говорить. Бог знает, как наказать, как миловать. Я же прощаю тебя совершенно. Ступай к образам, молись. На вечерню вместе пойдем.

Так вот вдруг прибыло Аввакумово семейство на три рта. А в храм пошли – навалился на Агафью бес. Время избрал сокровеннейшее, когда Аввакум, служивший литургию, переносил Святые Дары с жертвенника на престол. Закуковала, бедная, кукушкой; ку-ку да ку-ку. Бабы к ней кинулись, она на них – собакой лает, зубами щелкает, а кого и башкой боднет, с козым, с сатанинским бляньем. В храме плач поднялся, знают люди судьбину монашенки Агафьи, жалеют.

Взял Аввакум крест с престола, вышел на клирос, закричал:

– Запрещаю ти именем Господним! Полно, бес, мучить Агафью! Бог простит ее в сий век и в будущий!

Батюшка Аввакум умел на бесов громыхнуть. Агафья как из пучины вынырнула: лицо тихое, ласковое. Будто ветром пронесло к клиросу, упала перед протопопом, он же благословил ее крестом и молитву сказал. И стояла Агафья на службе, как все, пошла из храма, как все, а все-то на нее оглядывались, дивились протопопу:

– Силен Аввакум!

– Страдалец. Бог ему за терпение воздает.

– Как беса-то скрутил! Все косточки бесьи треснули.

– Неужто слышно было?

– Кто близко стоял, тот слышал.

– Эй-ё-ё! Это ведь и московские бесы перед нашим батькой не устоят.

– Московские из Рима присланы, на хитрости замешены, на сатанинском огне пеклись.

– Неужто русская простота римскую хитрость не одолеет?

– Молиться надо... Да кто теперь за нас, русаков, перед Богом заступится? Патриарх, как баба-привередница, бросил дом патриарший и на царя лает. Царевы иерархи – на него, на Никона. Брех и лай, а не молитва.

– Пропадет Россия, как в Смуту пропала.

– Бог милостив.

8

На Преображение в соборной церкви литургию служили ключарь поп Иван с протодьяконом Мефодием, Аввакум же был в алтаре и видел в тот светлый день чудо, от которого душу объяло ужасом. Когда протодьякон возгласил: «Двери, двери, мудростью вонмем» – внимаем, стало быть, – неведомым ветром подняло воздух, покрывавший Дары, и повергло на пол. Когда же всем храмом пели Символ веры, подправленный волей Никона, звезда на дискосе[15] над агнцем вздрагивала и переступала всеми четырьмя опорами.

– Видишь ли? – спросил Аввакум попа Ивана.

– Вижу.

– Не истинные твои глаголы, поп! То Божий знак. Я на все ругаюсь, а вы не слушаете. Меня и не надо слушать, но неужто Бог вам не страшен?

Рассказал Аввакум Анастасии Марковне о чуде – пригорюнилась.

– «Его же Царствию несть конца!» Хорошо было по-старому. Честно.

– Много честнее и мудрее, голубушка, чем «Его же Царствию не будет конца». Несть! Несть конца! Как гвоздь, вбитый по самую шляпку. В Никоновом «не будет» коли не сомнение, так не твердость. Ничего ему не надо, сатане. Убрал слово «истинный», и все смирились. Довольно, дескать, «Бога истинна от Бога истинна», будто язык опухнет лишний раз сказать «истинный».

Грустна была Анастасия Марковна. Молчалива.

Покойная жизнь катит день за днем, как волны по реке. Да ведь всякий – диво, творенье невозвратное. Ох, дни, дни! Дыханье Божее.

Всего было в меру в домовитой жизни протопопа: ночных молитв, сытного брашна и поста, трудов пастырских... Одно тяготило – слава. Бабы совсем одолели. Прошел слух: батка Аввакум грыжу у младенцев лечит. Потекли со всего края, кто на лодках, кто на лошадях, а кто и в коробу принесет младенчика из диких, дальних лесов. Лечение Аввакум знал нехитрое. Сам о том в «Житии» своем рассказал: «...маслом священным, с молитвою презвитерскою, помажу все чюства и, на руку масла положи, младенцу спину вытру и шулнятка, и Божиего благодатию грыжня болезнь и минуется во младенце».

17 сентября, на именины царевны Софии Алексеевны, вернулся Аввакум от заутрени, завалился не раздеваясь вздремнуть, и был его сон тонок. Спросил некто: «Аль и ты после стольких-то бед и напастей вздумал соединиться с прелестью? Блудись, протопоп! Не то растешу тебя надвое!»

Аввакум вскочил с постели – да к иконам. Молитву творил сокровенно, чтоб домочадцы не шептались потом по углам.

– Господи! – дал зарок. – Не стану ходить, где по-новому поют.

И не пошел к обедне в соборную церковь, явился к столу воеводы.

– Отправляй меня, Иван Андреевич, обратно в Дауры. Да хоть колесуй, в Никоновы церкви отныне не ходок.

Рассказал сон, заплакал.

– Прости, государь Иван Андреевич! Знаю, добрый ты человек! Худа мне не желаешь. Сам на кнут напрашиваюсь. Казни, не попрекну.

Заплакал и воевода.

– Ох, протопоп! Донесут на тебя без мешканья. На доносы люди у нас быстрые. Но всякое писаньице сначала ко мне придет, от меня – в Москву. Дело долгое. Живи, протопоп, как совесть тебе велит. Мне перемена обещана, но пока я здесь – никого не бойся.

С того дня Аввакум не ходил в церкви, где служили по новым книгам.

Заковало реку льдом, землю снег укрыл. Обновился мир, стал бел, чист, непорочен... Вздыхал протопоп, о людях печалуясь:

– Все меняется у Господа, дерево и зверь, один человек и зимой и летом все тот же.

Томился протопоп, ворочался ночами. На малых своих детишек глядел, вздохи сдерживая. Выбрала минутку Анастасия Марковна, подседа к батюшке под бочок, спросила:

– Нездоровится тебе, Петрович?

– Дома сижу. Отчего заболеть?

– Печален, голоса твоего совсем не слышать.

Не рассердился. Согласно покачал головой:

– Твоя правда, матушка... Морозы ныне трескучие, да не мороз страшен. Сама видишь, Марковна: одолела Русь зима еретическая. Восстать бы, криком кричать! Не смею. Связали

вы меня. Как говорить против сатаны? Ведь Акулинку с Аксиньей затопчет, как сыночков наших затоптал. Уж больно далеко посылает царь за слово святой правды.

– Господи, помилуй! – перекрестилась Анастасия Марковна. – Что ты, Петрович, говоришь? Вчера, слыхала, читал ты Послание апостола Павла: «Привязался еси жене, не ищи разрешения. Егда отретишися – не ищи жены». Благословляю тебя, батюшка, и дети твои тебя благословляют: дерзай говорить слово Божие по-прежнему. О нас не тужи. Пока Бог изволит – живем вместе, а разлучит – в молитвах своих нас не забывай. Поди, поди, Петрович, в церкву – обличай блудную еретическую!

Встал Аввакум, сложил ладони на груди, поклонился жене, слез не сдерживая. Ничего сказать в ответ не сумел, но была в его глазах тишина, море любви неизреченной.

9

Переждал протопоп рождественские морозы, переждал крещенские. Сретенские тоже переждал. Как помягчало на дворе, затрусило наст снежком, собрался и пошел обозом через Тюмень, через Туринский острог на Верхотурье.

Иди и дойдешь.

В Верхотурье встретил Ивана Богдановича Камынина, старого знакомого. Нижегородский человек, в Москве знали. Иван Богданович полтора года тому назад служил в Верхотурье воеводой. Пока дела сдавал, в дорогу собирался, восстали татары.

– Как же ты проехал, протопоп?! – удивился Камынин.

– Христос пронес. Пречистая Богородица провела, – легко отвечал Аввакум. – Мне, Иван Богданович, никто уж не страшен после Даур. Одного Христа боюсь.

И верно, зело осмелел протопоп.

Местный иерей, почитая великого страдальца, позвал Аввакума в соборе служить. Аввакум же не только отслужил обедню по-старому, крестясь двумя перстами, но и громыхнул проповедью. Власти, насаждающие Никоновы новшества, назвал волками. Напоследок же так молвил:

– Волчат подавить нигде не худо – ибо волками вырастут. Я же обещаю вам сыскать в Москве матерого вожака, череп ему раскроить за пожранное стадо овец словесных.

От таких речей у священника медвежья болезнь случилась.

Власти тоже проводили протопопа из Верхотурья с великим удовольствием.

По зимней дороге успел Аввакум доехать до Устюга Великого. Здесь и пережидал полые воды.

Мог бы и до Тотьмы добраться, но ростепель обманула. По лужам в Устюг приплыли-прикатили в День сорока мучеников. Сняли дом на два месяца. Тут и грянули морозы, да такие, что на улице вздохнуть страшно, грудь обжигает.

Великий Устюг потому и великий, что был в старые годы северной столицей. Все поморы, открыватели ледовитых морей и великих рек, или родом устюжане, или снаряжались в путь в Устюге. Что ни дом – купец, мореход, казак-землепроходец.

В Великом Устюге власти к протопопу благоволили, но друга себе нашел не среди именитых людей. Шел к заутрене, неся на себе облако морозное, – в одной рубахе, бос, без шапки – юноша. Не калека, не дурачок.

– Юродствуешь? – спросил Аввакум.

– Уродствую.

– Холодно?

– Холодно, батюшка.

– Приходи ко мне домой, помолимся.

– Сам приходи! Спроси Федора, всяк укажет, где моя келейка.

Во время службы юродивый забежал в церковь к иконам приложиться. Ноги об пол стучат, как деревянные. Молящихся от того стука мороз по спине продирает.

А Федор встал под куполом, на орла Иоаннова[16], названного сына Богородицы, засмотрелся. Руки сами собой поднялись, но до локтей. Не орлиный взмах – шевеленье замерзающей вороны. Тут певчие запели, Федор и замер. Руки топорщатся, ноги боль нестерпимая корчит. Палец с пару сойдет – взвоешь, а тут по колено мерзлое мясо на окаменелых костях – он же, милый, как ангел, глядит на Царские врата, на престол и Духа Святого видит.

Служба кончилась. Подошел юродивый к протопопу благословиться, сказал, в глаза глядя:

– Я сам тебе келию мою покажу. Пойдешь?

– Пойду.

А с ним, бедным, не то что выходить из храма, подумать о выходе – студено. Федор углядел смятенье, к руке протопоповой лицом припал.

– Ничего, батюшка, я привык. Ради дружбы нашей Господь мороз послал.

Жил Федор у людей хороших. Изба стояла на заднем дворе, утонув в снегу. Но пол вымыт, на столе хлеб, печь топится, в печи горшок каши.

– Из каких же ты людей будешь? – спросил Аввакум.

– Из богатых, – просто ответил Федор. – У моего батюшки в Новгороде амбары и лавки, но родом мы из Мезени.

– Книги у тебя.

– Батюшка денег не жалел на учителей. Я большие торга вел, да спохватился. Деньгами вечную жизнь не купишь. Наплакался по себе и пообещал Господу уродствоваться. Язык смел, да тело не больно храброе. Солгал я Иисусу Христу. Батюшка уговорил не ввергать дом в убытки. Какое купцу доверие, если сын блаженный дурак... Но Господь меня быстро приструнил. Плыл я на ладье с Мезени, волны расходились. Не помню как – то ли смыло, то ли ветром сдуло – упал с ладьи. Ноги в снастях запутались, а голова в море. Тут и обещал Господу: коли спасешь от потопления, буду бос по снегу ходить. Уж какой силой, а видно – Божией – выперхнуло меня обратно на палубу. И уж больше Господнего терпения не испытывал, пошел странствовать.

Аввакум ткнул пальцем в Следованную Псалтирь – в Никонову заразу:

– От богатства уберется, поберегись же, Федор, и от книжных прелестей.

– Не ведаю, батюшка! – испугался юродивый. – Чем книга нехороша?

– Тем, что Никоном порчена. В сей Псалтири – ложь великая. Всего два пропуска, а православие погублено. Велел патриарх выпустить статью о двенадцати земных поклонах при чтении великопостной молитвы святого Ефрема Сирина[17] да статью о двуперстном крестном знамении. Не крестись, как святой равноапостольный князь Владимир крестился, не крестись, как творил знамение отец Сергей, святейший Гермоген-мученик. Крестись, как Никон крестится – враг Христов.

Федор так и подскочил с лавки, будто зад ему обожгло.

– Бог тебя, батюшка, наградит за спасение души моей.

Схватил книгу и, нимало не размышляя, кинул в печь.

– Зело! – изумился Аввакум.

Благословил Федора. Федор же поклонился протопопу в ноги и сказал со страхом:

– Тебя в Москве в золотых палатах ждут.

10

Великий государь Алексей Михайлович в ту минуту, прозренную сердцем юродствующего Федора, помянул Аввакума добрым словом.

Умер главный иконописец Оружейной палаты Яков Тихонов Рудаков. Государю то печаль, но еще большая печаль государю – кого поставить над иконописцами? Хороших людей много. Поставь этого – будет это, поставь иного – будет иное. Кого ни поставь, перемены не избежать.

Послушался бы батьку Аввакума, батьку Неронова[18] – был бы в патриархах Стефан Вонифатьевич, кроткая душа[19]. Так нет, возжелалось Никона, и вместо покоя с миром – поклеп с дразгой, вместо благословений – проклятья...

– Батька Аввакум сказал бы, кого поставить в Оружейную! – вздохнул Алексей Михайлович.

Царица Мария Ильинична[20] даже наперсток уронила.

– Зачем вспомнул протопопа? Да и зачем бы ты спрашивал у человека недворцового?

– Затем, что правдив. Богдашка Хитрово ведь хитрово и есть: не лучшего поставит, а для себя удобного. Большой таскун. Дай волю – все из дворца украдет.

– Уж очень ты сердит, свет мой!

– Как не сердиться? Дементий Башмак донес поутру: у Хитрово в доме медные деньги серебрят.

– Доказано ли?

– А хоть и доказано! Он – оружейничий! Узнает народ, что воры в Оружейной палате сидят, – жди беды. По кирпичику Кремль разнесут. По морде Хитрово шмякну – вот и все наказание злодею.

– Беда с медными деньгами.

– Еще какая беда. Уж год, как приказано сливать монеты в бруски да в казну сдавать. Не спешают.

– Жалко! Рубль отдай, а получи пять копеек.

– Государыня ты моя! Семь тыщ казнили из-за медных денег, а страха в народе нет. Ведь к тем семи тысячам еще пятнадцать прибавь. Кому руку секли, кому пальцы, у кого все имущество в казну взято... Не боятся. Натирают полтины ртутью, полудой кроют. А на каждом крест! О чем Христа просят? Помоги, Боже, у царя своровать?! Мне, Мария свет-Ильинична, правдивые люди нынче дороже золота. Потому, знать, Аввакум и вспомнился. Едет из Сибири батька. Никон его так и сяк гнул, а протопоп прямехонек.

Мария Ильинична с удивлением поглядела на супруга, но промолчала.

– А знаешь, кого я решил поставить над иконописцами?

– Не ведаю, государюшко. Теперь в Оружейной кого только нет у тебя: греки, немцы, шведы, поляки с иудеями.

– Иудей один – Иван Башманов. Есть и татаре, тот же Ванька Салтан. Поставлю я русака, Симеона Ушакова. Пятнадцать лет в знаменщиках. Серебряник первой степени. Святые образа пишет с великим прилежанием. Владимирскую Божью Матерь одиннадцать лет писал!

– Батюшка, зачем же тебе советы, когда сам людей добрых знаешь?

Мария Ильинична подняла бровки, такое милое, юное проглянуло в ее лице, что у Алексея Михайловича дух захватило. Опуская руки, сложил их на животе, и тотчас досада разобрала. Живот перло, будто кто надувал.

– Мать, что делается-то со мною! Ведь поясами с тобой мерились!

– Эко вспомнил! Было дело, да минуло! На меня взгляни. Тот ли стан?

– Матушка! Ты десятерых родила, а я как на сносях. Ладно бы до еды был жаден. Сама знаешь, как пошусь. Корка хлеба да кувшин пива на день.

– Отпусти, государь, на Благовещенье из тюрьмы половину женщин, Бог тебя и пожалует милостью.

– Половину отпустить не могу!

– Не торговался бы ты с Господом, Алексей Михайлович!

– Ильинична, голубушка! Вот ты уж и рассердилась! А как половину отпустить, когда в тюрьме сидят двадцать семь злонамеренных баб?

– Эко?! – снова подняла бровки Мария Ильинична. – Отпустить тринадцать – число нехорошее. Отпустить четырнадцать – тринадцать останется... А колодников сколько?

– Семьсот тридцать семь.

– Батюшка, зачем ты обо всем помнишь?

– Позавчера тюремных целовальников слушал, потому и помню. Много сидельцев! Ведь по сорока девяти статьям Уложения в тюрьму сажают. А я бы, пожалуй, еще одну статейку добавил. В воскресный день работаешь – Бога гневишь, на царство да на царя с царицею насылаешь Господний гнев – садись и сиди, пока царь не подобреет.

– Батюшка, коли половину баб нельзя отпустить, отпусти десять.

– Двадцать отпущу. Оставлю самых бешеных. Колодников человек пятьдесят помилюю, из тех, кто о грехе своем плачет.

Алексей Михайлович пришел в Терем меньших детишек приласкать. Федосью, которой еще двух лет не было, трехлетнего Федора, Софью[21] – ей уж седьмой годок, читать умеет! Пятилеточку Екатерину, четырехлетнюю Марию. На каждого мальчика царица рожала двух девиц.

Детки, радуя батюшку, дюжину псалмов на память спели.

– Хорошие у ребятишек головы! – похвалил Алексей Михайлович царицу.

– Да все в тебя! – спроста сказала Мария Ильинична.

В груди и потеплело. Собирался уж уходить, но царица вспомнила вдруг о доносе.

– Чуть не забыла, государь! Мой стольник Степан Караваяев слышал от многих людей: привезли-де из Воскресенского монастыря «Житие» Никона. Продают в Москве, хоронясь, по четыре гривны за книгу.

Поскучнел Алексей Михайлович.

– Ах, Никон, Никон! Нейдется ему. Донос велю расследовать. Может, врут? Никон в патриархах саккосов[22] штук сто нажил да тьму врагов. Мне показывали три новые книги, одна – об Иверском монастыре, другая – Псалтирь и «Рай»...

– А ведь ты все жалеешь его! – покачала головой Мария Ильинична.

– Коли бы не был он столь неистов! – сказал государь. – Скоро патриархи приедут, рас судят нас, грешных.

Алексей Михайлович перекрестился, поклонился, но тут царица еще об одном деле вспомнила.

– Сестрица моя приезжала, Анна Ильинична! Плакала... Отписал ей воевода из Большого Мурашкина: человек сорок бобылей да крестьян убежали в Сергач. Управы на них нет. Воевода ни денег, ни припасов не шлет, дескать, имение Борису Ивановичу было дадено не навечно, село теперь государево... За что гнев, батюшка, на царицыну сестру, на вдову любимого дядьки? За какие прегрешения ты Анну, голубушку, по миру пустил?

– Так уж и по миру?

– Не бери, государь, грех на душу! Что люди-то скажут? И так уж шепчутся: царь свояченицу не любит. За вдовьи слезы, что ли, опала? Не обижай близких моих, государь.

На ресницах Марии Ильиничны набухли слезы. Этого Алексей Михайлович не терпел.

– Никто имения не брал у Анны Ильиничны!.. Вот иду и тотчас отпишу грамоту в Мурашкино. А ей бы, сестрице твоей, давно бы челобитье подать надо.

– Да вот оно, челобитье! – Мария Ильинична достала из ларца бумагу.

Алексей Михайлович зыркнул на жену, но смолчал, пошел, колыхая телесами. На пороге оглянулся, улыбнулся:

– Хитрецы!

Как только дверь за ним затворилась, крайчая Анна Петровна Ртищева так и расцвела.

– Дороден стал великий государь! Дородство – царям украшение.

11

Новые, неожиданные дела Алексей Михайлович любил решать сразу, без приказов Думы, как самому угодно. Для быстроты, для исполнения его личной воли и был создан приказ Тайных дел, где сидели люди расторопные, умные. В этом приказе не было ни единого дурака.

В Большое Мурашкино воеводе Давыду Племянникову через полчаса уже было отписано: всем беглым из Мурашкина, из Лыскова, которые живут в Сергаче, в государевом имении, жить в Сергаче по-прежнему. Селом же владеть вдове боярина Морозова[23] Анне Ильиничне[24], слушать ее крепко, ни в чем не перечить.

Большое Мурашкино – село богатейшее. Алексей Михайлович любил, когда престарелые бояре били ему челом, даруя свои владения. По смерти знатных людей отходили к царю многие угодья, земли, даже города. Он этими угодьями, землями, городами награждал за службу, новых слуг тоже ведь надо привечать.

Не удалось забрать назад Лысково и Большое Мурашкино. Алексей Михайлович не больно и жалел. Анна Ильинична, чай, бездетная...

Занявшись хозяйственными делами, государь ушел в них с головою. Любил устраивать жизнь благоразумную и обильную. Борис Иванович Морозов привил страсть к хозяйству, сам был zelo разумен и бережлив.

Вон с Мурашкина на жалованье ратникам собрано тысяча шестьсот пятьдесят один рубль четыре алтына три деньги. Не всякий город столько даст! С Лыскова получено тысяча восемьдесят один рубль двадцать пять алтын!

Все еще не в силах расстаться с богатым имением, царь ответил на челобитье крестьян, указал Племянникову в Мурашкине и Симанскому в Лыскове забрать в Тюрешевской волости яровой хлеб и раздать бедным крестьянам, «чтоб тот хлеб вперед было на ком взять». Пусть Мария Ильинична не говорит, что он-де не заботится о ее родственниках.

Просматривая дела своих имений, вспомнил: хотел завести в Скопине и в Романове гусей и уток. Отписал: дать по пять алтын на двор для завода гусиных и утиных стад. На две тысячи дворов – триста рублей, чтобы с каждого двора присылали потом в Москву по одному гусю да по две утки в год.

Отправил грамоту в дворцовую Гуслицкую волость: пусть наберут в Рязанском уезде человек сто и больше валить строительный лес.

Сочинил письмо Ордину-Нащокину во Псков. Хотелось завести полотняное дело. Просил Афанасия Лаврентьевича приискать мастеров, которые умеют сеять лен, умеют мочить его, стелить «и строят на торговую руку и которые коленские полотна делают». Указал Федору Ромодановскому доставить урожайные семена льна, да не мешкая, чтоб к севу поспеть.

Распорядился доправить с Лаврентия Капустина пени в пятьдесят рублей. Он из Романа прислал мясо полтями, а не тушами, грудинок и потрохов не прислал.

А вот Автомон Еропкин молодец, собрал-таки с алатарской мордвы за прошлый год восемьсот двадцать шесть пудов меда. Мордовский мед от ста хворей.

Хозяйственные дела – утешение и радость, с души воротило разбирать человеческую неприязнь. Хованский снова вздорил с Ординым-Нащокиным. Афанасий Лаврентьевич учредил во Пскове выборное начальство. Горожане избрали совет из пятнадцати человек. Пятеро управляют городскими делами по году, остальные в советчиках. Потом другие пятеро у власти, третьи. Питейная продажа во Пскове свободная, оброк идет в казну. Три недели в год иноземцы торгуют беспошлинно. Кому-то это выгодно, кому-то нет, но Хованскому все новшества Ордина-Нащокина как острый нож, донос следует за доносом. И допек. Ударил Афанасий Лаврентьевич челом: освободи, государь, от городских дел, невмочь! Хитрый человек,

просит оставить за собой одни дела посольские да вестовые, а надеется, что спор с Хованским Алексей Михайлович решит в пользу новшеств. Но попусти их, новшества, – вся жизнь в государстве сломается. Коли есть в городе правители, зачем воевода нужен? Не нужны воеводы – нужен ли царь?

Вздыхает Алексей Михайлович, откладывает челобитье Ордина-Нащокина на потом. Берет следующее дело, приготовленное Дементием Башмаковым, а это дело Лигарида[25].

– Уж скоро вечерня! – нашел выход Алексей Михайлович. – Я собирался в Даниловом монастыре молиться.

Дементий не смотрит на государя.

– Жулик он, митрополит Газский. Архимандрита Христофора разбойничьи ограбил. Вещи Христофоровы, ворованные, у него в келье найдены.

– Нехорошо, – согласился Алексей Михайлович. – Я и сам знаю. Мздоимец, с купцов иноземных берет за покровительство. На руку нечист. – Поглядел на Дементия просительно. – Без него с Никоном не управиться. Мелетия подождем.

– Приедет ли? – усмехнулся дьяк.

У Алексея Михайловича уши покраснели, будто своровал.

Нечистое дело.

Лигарид с Мелетием[26] одного рода – иудеи, совесть что у того, что у другого кривая. Лигарид лжет, обирает, попрошайничает, Мелетий – лжет, крадет и мошенничает. По обоим кнут плачет. В келье Лигарида нашли вещи ограбленного архимандрита Христофора. Мелетий попался на подделке подписи патриарха Никона. Мало того, печать патриаршью изготовил.

Безобразно корыстны. Лигарид бил челом: Газская епархия три года из-за его отлучки не платила дани турецкому султану и податей – патриарху Иерусалимскому. Насчитал долга тысячу семьсот ефимков, а когда его пожаловали, снова бил челом, просил серебро поменять на золото.

Дали восемьсот пятьдесят червонцев. Тут он и разохотился. Выклянчил карету, лошадей, упряжь. Умолил освободить греческих купцов от таможенной пошлины, эти купцы-де его племянники. С «племянников» пошлины не взяли, разница пошла в карман просителя. Доискался разрешения соболями торговать. Дело поставил на широкую ногу, московских купцов теснил. Ничего; терпели: нужный государю человек.

По совету Лигарида иеродьякон Мелетий повез письма великого государя к восточным патриархам. Имел и устный наказ: что бы ни попросили, обещай, лишь бы согласились в Москву ехать, совершить суд над патриархом Никоном. На подъем Константинопольскому патриарху повез Мелетий четыреста червонцев, остальным патриархам – Иерусалимскому, Антиохийскому, Александрийскому – по триста, столько же Паисию, бывшему главе Константинопольской церкви, да тридцать пар соболей для раздачи разным чинам, на дорогу шестьсот ефимков. С такими деньгами Мелетий и впрямь мог исчезнуть.

– Может, и не надует, – сказал Башмакову Алексей Михайлович не особенно твердо, и оба засопели, что царь, что тайный дьяк.

В эту тяжкую минуту в дверь стукнули, на пороге объявился Афанасий Иванович Матюшкин, двоюродный братец государя, великий ловчий, друг детства.

– Я с известием, – сказал Матюшкин, видя расстроенные лица, и, предвкушая перемену в настроении, расцвел улыбкой. – Патриарх Нектарий едет.

– Иерусалимский! – вскричал, как родился, Алексей Михайлович.

– Иерусалимский... Вроде бы через Грузию.

– Он у молдавского господаря был, – возразил Дементий.

– Говорили, едет через Грузию.

– А кто говорил?

– За птицами я посылал сокольника Ярыжкина в Терскую землю. Монахи ему говорили.

– Проверить бы надо, – сказал Дементий.

– Проверяльщик! – вспыхнул государь. – Встречать нужно патриарха, вот что. Сей же миг сыскать умного скорого человека, пусть едут в Севск к боярину Петру Васильевичу Шереметеву, а от Шереметева к гетману Брюховецкому... Из Грузии ли, из Ясс – мимо земли Войска Запорожского не проедет.

Большая суматоха поднялась в Тайном приказе. Большая, да не бестолковая. В тот же день отбыл в Севск подъячий Порфирий Оловянный, человек совсем еще молодой, но грамотный, памятный и на глаз цепкий.

12

Всякий злак и плод, коли не менять семян и деревьев, в конце концов вырождается. Так и в делах государственных.

За Богданом Хмельницким – Юрко Хмельницкий, за Юрко – Выговский, за Выговским – Тетеря[27]. Родственники. В считанные годы докатилось колесо судьбы до слуг Богдановых, до Ивана Мартыновича Брюховецкого[28].

Власть слуги – власть обезьяны. Копия, но мерзкая. Слуга знает столько же, сколько господин, умеет столько же. Но господин слова и дела свои почитает непрегрешимыми, у слуги даже одежда его новехонькая исполнена сомнения. А Иван-то Мартынович был лысый! Гетман без оселедца!

Москву Брюховецкий приручил детской хитростью. Советовал царю отменить гетманство, поставить наместника, учредив титул князя Малороссии, даже называл имя наместника: окольный Федор Михайлович Ртищев[29] – мудрый человек, любящий Малороссию, жалующий малороссов.

На Черной раде под Нежином Иван Мартынович, будучи кошевым атаманом запорожцев, дал волю вольнице, и сторонники полковника Самко получили не только под боки, но и по шеям. Самко и многие полковники выборов не признали, и на другой день рада собралась заново. Снова выкрикнули Брюховецкого, да так громко, что противная сторона смолчала.

Брюховецкий же, ухватя булаву, тотчас припустил мстить своим недоброжелателям. Хмельницкий начал Желтыми Водами, а Брюховецкий – неправым судом. Москва за судимых не заступилась, и слетели с плеч две надежные головы – Золотаренко и Самко. Других полковников, голосовавших против, новый гетман заковал в цепи и отправил в Москву, а Москва – в Сибирь.

Слух о прибытии патриарха Нектария оказался ложным, но Оловянный не зря проезжал. Скоро от него пришла весть: государева посланца иеродьякона Мелетия ограбили в Черкассах. Брюховецкий ограбил!

Для расследования дела тотчас был отправлен майор Иван Сипягин. Видимо, «своих» людей у царя в Войске Запорожском было предостаточно. Сипягин, появившись в Черкассах, на первой же встрече с Брюховецким назвал виновников разбоя: войсковой есаул Нужный, лубенский полковник Гамалей, переяславский Данько. Не прося, а покрикивая, майор потребовал у гетмана сыскать письма восточных патриархов к великому государю.

– Беда на мою лысую голову! – прикинулся простаком Брюховецкий. – Войско велико, у кого искать?

И получил не в бровь, а в глаз:

– Много досталось тебе, гетман. У тебя золотые подушки, у тебя ножики, у тебя чернильница.

– Я не знал, что это вещи Мелетия! – Иван Мартынович изумился со всею возможною правдивостью. – Ну и подарочки я получил! Все будет возвращено.

– Как не воротить?! Грабить государевых людей накладно, – согласился майор. – Я три листа уже сыскал у писаря Савицкого. Можно и другие найти...

– Пожитки ладно, а листы кому понадобились? – снова захохотал Брюховецкий, но майор с гетманом не церемонился.

– Начни, Иван Мартынович, со своего есаула, с Нужного.

– Он в Мошны отъехал.

– Мошны не за тридевять земель. Лошадей Мелетиевых тоже возврати. В конюшне у войскового писаря, у Захарки, стоят.

– Все-то тебе известно! – изумился без особой досады Брюховецкий. – Мне бы таких слуг!

– Служи великому государю с радением, будут и у тебя знающие люди.

Покряхтывал Иван Мартынович. Лысые гетманы большие кряхтуны.

13

30 апреля иеродьякон Мелетий предстал пред очи великого государя Алексея Михайловича.

Монах был рослый, черный. Глазами так и ныряет в человека; да все норовит, как бы сказать и сделать впопад.

Привезенные Мелетием грамоты были представлены государю заранее: два свитка от патриарха Иерусалимского Нектария, свиток от Дионисия, патриарха Константинопольского, два листа патриарха Александрийского Паисия к Царьградскому, письмо хартофилакса[30] царьградской церкви к Мелетию, в котором сообщалось о послании Никона к гетману Тетере с просьбою поймать Мелетия.

На слушанье дела царь пригласил Федора Михайловича Ртищева, Дементия Минича Башмакова, митрополита Газского Паисия Лигарида, Амасийского Косьму, Иконийского Афанасия, из русских – архимандрита чудовского Павла да архиепископа Рязанского Илариона.

– Отчего не поехал к нам кир Нектарий? – задал Алексей Михайлович первый вопрос.

Мелетий, глянув на Лигарида, ответил чуть не с радостью:

– А он и поехал бы! Да в ту пору был в Яссах купец Афанасий, грек. Наговорил Нектарию, что патриарх Никон – великий друг грекам. Нектарий и раздумался.

– Уговаривать надо было! – подосадовал Алексей Михайлович.

– Я уговаривал, на языке мозоль набил! – обиделся Мелетий. – Ради моих уговоров кир Нектарий на грамоте своей приписку сделал. Прогляди своими глазами, государь! Если Никон трижды не явится на собор, его можно судить заочно.

Снова метнул взгляд на Лигарида. Тот одобрительно прикрыл глаза веками.

Царь и Ртищев тоже переглянулись. Федор Михайлович чуть кашлянул и сказал:

– Письма побывали в руках малороссийских казенных людей. Не заметил ли ты подмены?

– Листы истинные, – твердо сказал Мелетий.

Архиепископ Иларион поднес иеродьякону икону Спаса.

– Целуй, коли не солгал.

Мелетий благостно приложился к образу.

Алексей Михайлович просиял и победоносно воззрится на митрополита Иконийского Афанасия. Афанасий человек был громадный, головою – лев косматый. Как лев и ринулся со своего стула, выхватил икону из рук Илариона, поцеловал троекратно.

– Глаголю во все концы мира: подпиши патриарха Дионисия – подлинная! А вот Нектарий с Паисием по-иному руку прикладывают.

– Навет! – Лигарид сказал, как муху прихлопнул.

– Я Богом поклялся! – вскричал Афанасий. – Мой дядя, патриарх Константинополя кир Дионисий, не желает суда над патриархом кир Никоном! Распря между христианскими пастырями роняет величие Православной Церкви. Христиане дерутся – мусульмане ликуют... Когда я ехал в Москву, к великому государю, мой дядя кир Дионисий наказывал помирить великого государя со святейшим Никоном. И мне ведомо, я о том говорил тебе, великий государь, патриархи Мелетия не приняли, милостыни государевой не взяли. Восточные патриархи против суда, потому и не поехали в Москву, экзархов не прислали, ответов дать не захотели. Мелетию поневоле пришлось грамоты самому сочинять. Он на такие дела большой искусник.

Лигарид медленно поднялся, поклонился государю.

– Ваше величество, отвечать на ложь – значило бы пятнать непорочную правду. Выслушивать брань, на которую ответить можно только бранью, – дело для моего сана недостойное. Дозволь, великий государь, удалиться. Пойду помолюсь за бедного Афанасия. Господь милостив, не убьет его за лжесвидетельство.

– Да уж ступай! – сказал в сердцах государь. – Все ступайте, немирные вы люди!

Великая досада разбираала Алексея Михайловича, столько ждал Мелетия – и попусту. Не хочет дело делаться.

Упрямый Никон, мордва проклятая, добром от патриаршества не откажется. Вот уж истинный творец смуты. Без патриарха церковь сирота, а с патриархом, беспечно бросившим паству, – сирота, Богом оставленная.

Пока Дементий Башмаков провожал духовенство, Алексей Михайлович, сидя с Ртищевым, совсем разгоревался:

– Опять Никон нас за пояс заткнул... Не дает мне Господь слуг умных и преданных. Влезь в него, в Мелетия!

Он ведь и впрямь может грамоты подделать!

– К патриархам надобно отправить русского человека.

– Русского?! Никон к грекам греков шлет. Свои скорей договорятся. Никонов посланец Емануил отвез патриархам по пятнадцати тысяч золотыми монетами, лишь бы не давали ответов, осуждающих собинного моего друга.

– Не верю я этим слухам. Откуда у Никона такие деньги?

– Я тоже не верю, – признался царь. – В сердцах сболтнул. Ты же сам видел: оба икону целовали!

– Так, может, оба и правы.

– Добрая ты душа, Федор! Мелетий не раз на подделках за руку схвачен, Афанасий тоже гусь. Называет патриарха Дионисия дядей, а Лигарид кричит: ложь, он-де и митрополит ложный. Кому верить-то? Придется собор созывать для свидетельствования подписей.

– Не огорчайся, великий государь! Дозволь порадовать тебя.

– Да чем же?

– Симеон Ситанович[31] приехал.

– Ситанович? – не вспомнил государь.

– Из Полоцка, виршеслагатель.

– Симеон Полоцкий! Да когда же?! Почему не сказали?! Чай, учитель Алексею Алексевичу. – Государь привскочил. – Хорошо ли поставили? Великой учености человек.

– У себя принял до твоего царского указа.

– Ну, слава Богу! – Алексей Михайлович успокоился, сел. – Коли Алексей воспримет от Симеона науку, всему царству русскому будет свет и благоденствие. Спасибо, Федор Михайлович! Порадовал.

– Еще могу! – засмеялся Ртищев. – Не сегодня завтра протопоп Аввакум приезжает.

– Вот кто страстотерпец! – с жаром сказал государь. – Никон крепких духом людей боялся. Ты, Федор, протопопа приласкай, приготовь быть к царской руке вместе с Симеоном.

– Хорошо придумал – лицом аж посветлел!

– Добрые дела – как солнышко... Утешь, Федор, скажи мне об Алексее Алексеевиче словечко.

В день крестин, 19 февраля, – родился царевич двенадцатого, на святого митрополита Алексия Московского и всея России чудотворца – Федор Михайлович Ртищев, ради великой доброты своей, кротости, книжности, ради светлого ума, был определен десятилетнему отроку в дядьки.

– Ах, государь! Шел я вчера к Алексею Алексеевичу книгу почитать, слышу, поют. – Федор Михайлович примолк, и было видно, переживает вчерашнее. – Ангел поет. «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних!» Веришь ли, Алексей Михайлович, замерла душа моя, сердце остановилось – так сладко пели, что не только поступью, но стуком сердца, дыханием было страшно оскорбить звуки неизреченной красоты. А голосок все светлей да светлей. А уж как запел: «Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света. Хвалите Его, небеса небес...» – покатались слезы градом, я и всхлипнул. Сойти с места не смею, а пение ближе, ближе, и отворяется вдруг дверь. Стоит царевич, сынок твой пресветлый, смотрит на меня, а сам песни не оставляет: «Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его...» Будто исповедали и причастили – вот каков у тебя сынок.

– Не нарадуюсь. – Государь смахнул с ресницы слезинку. – Певун. Я уж так люблю, когда Алеша поет. Наградила его Богородица дарами щедрыми. С шести лет читает, с семи пишет.

– Мы ведь «Монархию» Аристотеля осиливаем.

– Не рано ли?

– Я у Симеона спросил. Говорит: для царей не рано.

– Боже мой, Боже мой, раздумаюсь об Алеше, сердце и скажет: счастливая ты, госпожа Россия.

– У доброго злака добрые семена, – поддакнул Ртищев и неожиданно подумал: а вот крестный отец у царевича – Никон.

– А крестный отец царевича – Никон! – сказал Алексей Михайлович с горечью. – На день рождения Алексея Никон своею волей, без собора, установил праздник Иверской иконы Божией Матери... Я бы два Воскресенских монастыря дал ему, лишь бы смирил бурю свою... Не гнали с престола, сам ушел. Господним промыслом совершенно! Так бойся же Господа! Молись – не борись. Не равняй себя с богоборцем Иаковом[32], ибо та борьба – пророчество.

Придвинулся к Федору, зашептал как о сокровенном:

– Хочу окружить себя людьми светлыми, в вере сильными. Оттого и рад, что Аввакум приезжает жив-здоров. Бог его ко мне ведет.

14

Въезжая в Москву, протопоп Аввакум благодарности к воротившим его из сибирского небытия не испытывал. На московские хоромы, на шустрый люд, на Божии храмы смотрел как на мерзость запустения.

– Батька, неужто не рад? – охнула Анастасия Марковна. – Москва, батька! Два года ехали и приехали. Слава Тебе, Царица Небесная!

– Где же два, все одиннадцать!

– Глянь на Прокопку, на Агриппину – головами-то как вертят! Вспоминают...

Не стовариваясь посмотрели на Ивана. Сидел задумавшись, уставя глаза в спину вознице.

– Может, Корнилку вспомнил! – шепнула Анастасия Марковна. – Ваня любил Корнилку. Батька, купола-то сияют!

– Блеску много, аж глаза режет. В Вавилон, матушка, мы прибыли. В царство погубели. Гляжу на людей, и ужас меня берет – все отступники! Жиды предали Христа в царствие Ирода, а русаки – в царствие Алексея Михайловича. Помяни мое слово, расплата впереди. Соломон строил храм сорок шесть лет, а римляне разрушили в три дня. И наши соборы будут в прахе лежать, ибо нет в них места Духу Святому.

– Не грозись, Петрович! – припала к мужнину плечу протопопица. – Страшно! Милостив Бог! Заступница защитит нас, грешных...

– Куда везти-то? – повернулся к протопопу возница.

– К Казанскому собору. Кто-нибудь из прежних духовных детей приветит. Жив ли, Господи, братец Кузьма?

Ехали уже по Никольской улице, мимо боярских хором. Аввакум, напустив на лицо суровости, выгнул бровь дугой, насмешил Федора-юродивого.

– Ну и дурак же ты, батька!

Протопоп вздрогнул, будто воды ему холодной за ворот плеснули. Сказал Федору со смирением:

– Спасибо, голубь! От греха спас.

Все шесть подвод, с детьми, с челядью, со скарбом, остановились у ограды Казанского собора.

Аввакум перекрестился, вылез из телеги, попробовал, озоруя, ногой землю.

– Ничего! Московская твердь держит.

Пошел всем семейством в храм приложиться к Казанской иконе Божией Матери. Когда же, отступив, творил молитву, его окликнули:

– Батюшка, ты ли это?!

– Афанасьюшко! – узнал Аввакум. – Экая борода у тебя выросла!

– Ты бы дольше ездил, батюшка. У меня хоть борода, а у иных копыта да хвосты повыврастали. Благослови меня, страдалище ты наше!

Благословил Аввакум духовного дитяню.

Обнялись. Умыли друг друга благостными слезами. К Афанасию и поехали.

Избенка у Афанасия была невелика, но христианам вместе и в тесноте хорошо.

– Сей кров даден мне от щедрой боярыни благой, Федосьи Прокопьевны[33]. Зимой тепло, печка уж очень хороша, летом прохладно, – похвалил свое жилье Афанасий.

– Знаю, молитвенница. Крепка ли в исповедании? Не юлит ли в Никонову сторону?

– Шаткое нынче время, батюшка, – уклончиво сказал Афанасий.

Женщины принялись обед стряпать, Аввакум же сел с хозяином расспросить о московском благочестии, сколь много пожрала Никонова свинья.

– В кремлевских соборах новые служебники, но за старые ныне не ругают, – обнадежил Афанасий протопопа. – Среди бояр тоже есть люди совестливые. Крепок в вере дом Федосьи Прокопьевны Морозовой. У царицы, в домашней ее церкви, по-старому служат! Милославские и Стрешневы Никоновы новины невзлюбили. Соковнины, Хованские – тоже добрые все люди, боятся Бога.

– Я-то думал: в пропащее место еду, а не всех, не всех ложь в патоку окунула! – возрадовался Аввакум.

– Не всех, батюшка! Многие рады от новин отстать!

– Что же не отстают?

Афанасий вздохнул, развел руками.

– Павел, архимандрит Чудова монастыря, говорил дьякону Федору, что в Успенском соборе служит: «Старое благочестие право и свято, старые книги непорочны».

– Так что же они, бляди?![34] – взъярился Аввакум. – Всё Никона боятся?!

– Никон, батюшка, – медведь с кольцом в носу. Павел-то так сказал: «Не смеем царя прогневить. Царю угождаем».

Аввакум привскочил, но тотчас сел, уставясь глазами в пол.

– Ничего понять не могу!

– Батюшка, а никто не понимает, – кротко признался Афанасий.

Влетела, хряпнув за собой дверь, девка-работница Глаза как у совы.

– Карета скачет!

– Так и пусть скачет! – удивился испугу работницы Афанасии.

– Да к нам!

– К нам?!

А уж лошади у крыльца фыркают, сапоги в сенях топают. Дверь отворилась, и, скинув шапку, вошел осанистый, богато одетый человек. Перекрестился на икону по-старому, поклонился хозяину дома, потом уж и его гостю, но обратился к Аввакуму:

– Окольничий Федор Михайлович Ртищев кланяется и зовет тебя, протопопа, быть гостем. Карету свою за тобой прислал.

Аввакум вышел из-за стола.

– Марковна!

Анастасия Марковна показала, поклонилась человеку Ртищева.

– Шубу подать, батюшка?

– Незачем украшать себя перед великими людьми, коли перед Богом честной жизнью не красуемся, – сказал как по писаному. – Ты, Марковна, благослови меня.

– Что ты, батюшка!

– Благослови, прошу, ибо в смятение пришла моя душа. В цепях на телеге возили, на дощаниках топили, на собаках тоже скакал, а вот в каретах ездить не доводилось.

– Давай-ка я тебя благословлю! – закричал Федор-юродивый, кинулся к печи, схватил веник, огрел протопопа по спине. – Вот тебе, великий господин! Вот тебе, знатная персона!

– Довольно! – сказал Аввакум, ничуть не рассердившись. – Довольно, говорю!

Но Федор уже разошелся, и пришлось протопопу бежать.

15

Будто солнце в карете привезли. Федор Михайлович на крыльце поджидал гостя. С крыльца опротясь кинулся, к руке протопоповой так и прильнул:

– Благослови, батюшка! – Глаза ласковые, голос вежливый, шелковая борода расчесана. – Заждались тебя, крепость ты наша. Столько неистовых людей развелось. Бросаются друг на друга, как хищные звери. И хоть язык у них человеческий, слова русские, а не понимают, что им говорят. На тебя, батюшка, большая надежда.

– Да у кого же?

– У меня первого! А более моего – у великого государя! – И опять поклонился. – В дом прошу! В дом!

В лице лукавинка, друга сердечного в подарок приготовил, Илариона, сына Анания[35], земляка, сподвижника юности. В Желтоводском Макарьевом монастыре Аввакум с Иларионом молились до рыданий, поклоны клали до изнеможения. Бога славили, соединив сердца и души. Но то было давно. Иларион, возмечтав об архиерействе, к Никону прилепился, а ныне уж и отлепился, возле царя надежнее.

Аввакум, встретившись лицом к лицу с Иларионом, сразу и не сообразил, что сказать, а тот, не давая опомниться, сграбастал в объятия, слезами замочил протопопу обе щеки и бороду.

– Петрович! Петрович! Соединил нас Бог! Через столько лет, через столько верст!

Аввакум хоть и смягчился сердцем, но все же отстранил от себя архиепископа. Легко слетевшее с губ Илариона словечко «соединил» продрало от затылка до пят, однако ж смолчал, вежливость одолела.

А стол накрыт, за руки берут, ведут, сажают. Молитву о хлебе не перебеешь, и вот уж чашу подносят с фряжским винцом, душистым, сладким, такое небось и царь по большим праздникам отведывает. Кушанья под шафраном, а ушица простенькая, из ершей, со смыслом.

– Помнишь, Петрович, на Сундовике ершей ловили? – потянул ниточку воспоминаний Иларион.

– Тебе Бог всегда давал больше, на двадцать рыбешек, на сорок, – сказал Аввакум.

Иларион, смеясь, воздел руки к небесам.

– Веришь ли, Федор Михайлович! Местами с Аввакумом менялись, и раз поменяемся, и другой, но улов мой был всегда больше.

– Мелочь на его крючок шла! – сказал протопоп без улыбки. – Я в Тобольске с попом Лазарем рыбу ездил удить. И ведь что за чудо! Поп наловил много, но с ладонь, а мне попалась одна, да с лодку.

– Знаменнице! – охотно согласился Ртищев.

– Про что?

Иларион поспешил перевести разговор:

– Батюшка мой ершиков любил.

– Святой был человек! Царствие ему небесное, – перекрестился Аввакум и показал свое сложение перстов Илариону. – Твой батюшка преосвященством не был, зато и не оскорблял Господа Бога щепотью. Иуда щепотью брал из блюда.

– Строг ты, батюшка! Чрезмерно строг к нам, грешным! – воскликнул Ртищев. Голос его оставался ласковым, любящим.

– О сложении перстов не я правило ввел, не Федор Михайлович, не великий государь, – сказал примирительно Иларион. – По благословию вселенских патриархов совершено. Три перста – три ипостаси Господни. Сам небось знаешь, как боится Бога великий государь. Никон столько беды наслал на царство, Алексей же Михайлович терпит, без патриархов судить Никона не смеет.

– Помощники у него, у великого государя, совсем негодные, смотрю. Уж я бы посоветовал батюшке не цацкаться с душеедом. Так бы и сказал: четвертовать! Выпороть за все напасти, за все слезы, за всех, кто по его, Никоновой, милости уже в геенне огненной скулит, – выпороть и четвертовать!

– Гроза ты, батюшка! Ах, гроза! – сложа ладони у бороды, поужасался Ртищев. – Поведал бы ты нам о странствиях своих. Что видел, как жил-терпел?

– Муку видел, муку терпел, но не смирился, окаянный, воевал. В Лопатицах воевал, в Юрьевце воевал, в Москве воевал, а уж в Даурии – вспомнить страшно.

– Да с кем же война у тебя была? – искренне изумился Федор Михайлович.

– С искушениями! А более всего с Пашковым, со зверем моим цепным. Повязал нас Господь единой цепью. Всю Даурию грыз меня Афанасий Филиппович, да я, милостью Заступницы, жив.

Рассказал Аввакум о великих злодействах воеводы и спохватился:

– Вы государю о том молчок! Не хочу зла мучителю. Хочу спасения. Дал зарок постричь дурака, поберечь от Господнего гнева.

– Видел я на днях Афанасия Филипповича! То-то он бледен стал, когда сказал ему, что ты едешь! – Ртищев сокрушенно покачал головой. – О чем только люди думают, творя бесчинства?

– Убил бы меня, да жена его Фекла Симеоновна со снохою Евдокией Кирилловной за руки безумца хватили... Я великому государю грамотку напишу. Ведь от иного воеводы столько зла – от немирных инородцев такого не изведает.

– А все же, батюшка, расскажи о странствиях своих, – попросил Ртищев.

Аввакум встал, поднял голову, будто дали дальние взором пронзил, да и развел руками:

– Нет, не объять, – сказал. – Даже мыслью не объять царства великого государя. Какие горы стоят! Какие реки текут! И ничему-то нет предела: ни лесам, ни долам... Слава Тебе, Господи, что столь велика и прекрасна православная сторона. Слава Тебе, Господи, доброго государя дал нам, русакам, и многим иным, поспешившим под царскую руку ради покоя.

Понравилось Федору Михайловичу, как Аввакум о царстве сказал, о царе.

16

На приеме у великого государя много не говорят, но сие целование руки было и для самой Грановитой палаты необычайным. Самодержавная Россия жаловала царской милостью не земных владык, не послов, не иерархов, не бояр сановитых, но ученого, ради его нездешней учености, да еще мученика, несправедно осужденного, и, что совсем уж преудивительно, своего мученика, русского. Где ученость, там и речистость. Чернец Симеон Полоцкий складными словесами вволю потешил царя. Как начал, как повел! Красное слово на красное, громогласие на громогласие, с небеси на землю, с земли на гору, а там и на облако. С облака под звезды, поскакал по луне, понянчил солнышко и допрыгнул-таки до Престола Господнего, по ступеням золотым, по огненным крыльям серафимов. Другой бы трижды задохнулся, воздуху не перехватив, а этому и дышать не надо, хвалебная песнь, как медоточивая река, льется, благоухая и слепя сверканием.

Когда пришла очередь Аввакуму к руке подходить, всколыхнулась в нем любовь к Руси великой, к шапке Мономаха, к святым князьям, от блаженного Аскольда до святейшего патриарха Филарета[36], святого и царственного дедушки Алексея Михайловича. Великий трепет объял душу, задрожало протопопово сердце. Господи! Иной раз такое о царе скажется, чего не всякий враг придумает. Вот он, царь-матка, самодержец Московского царства, обложен землями, царями и князьями, как сотами. В золоте, на золоте, а под золотом, в груди, опять же ясное золото.

Лицо покойное, фигура дородная, а глаза уж такие серьезные, такие верящие тебе и Богу, что за все прежние злые и нечестные слова о нем, свете, – до слез стыдно.

Поцеловал Аввакум руку государю, пожал.

– Здорово ли живешь, протопоп? – спросил Алексей Михайлович. – Вот как Бог устраивает. Еще послал свидеться.

– Господь жив, и моя душа жива, великий государь, – ответил Аввакум, – и впредь как Бог изволит.

– Мы с царицей не раз поминали тебя. Далеко святейший Никон услал правдолюбца. Да мы тебя и в полуночной стране сыскали и для нашего царского дела, для Божеского, назад воротили. Был далеко, будь близко. Велел я в Кремле тебя поселить, на подворье Новодевичья монастыря. Помолись Господу обо мне, грешном, о царевиче Алексее Алексеевиче, о царице Марии Ильиничне, о всем семействе моем.

– О тебе, великий государь, всем народом православным Иисусу Сладчайшему, Заступнице Небесной молимся, всякий день тебя, государь, в молитвах поминаю.

– О Марии Ильиничне сугубо помолись. Она, сердешная, за тебя большой ходатай.

– Помолюсь, великий государь.

– Ну и слава Богу.

Сразу после церемонии Симеон Полоцкий чуть не рысью подскочил к Аввакуму.

– Наслышан, протопоп, о твоём великом путешествии! Два года пути в одну сторону – подумать страшно. Но не дивно ли: Бог привел нас в Москву в одно время, тебя с Востока, меня

с Запада. Будем же делать одно дело – пасти народ православный словом Божиим. Дозволь быть у тебя, батюшка.

– Что ж не дозволить? Приходи, хотя сам-то я дома своего пока не видывал.

– Как государь тебя любит! Счастливы подданные России! Ваш самодержец для всех сословий – отец родной, – пропел Симеон.

– Грех так говорить, батюшка. Неужто не помнишь сказанное Иисусом Христом: «И отцем себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец».

Симеон улыбнулся, поклонился Аввакуму.

– Строгие русские люди. Строгие. Только, батюшка, не согрешил я, называя великого государя великим словом. Люди, живущие у теплых морей, не ведают своего блага, ибо никогда не почувствуют кожу холода зимы.

– Не смею много возражать тебе, ученому человеку, – не скрывая досады, ответил Аввакум. – А все же не медведи мы, своей пользы не знающие. Верно! Не во всякий век и не всякому народу посылает Господь таких царей, как наш Алексей Михалыч. Природный русак, оттого и любит людей. Грешим, грешим, а Бог все награждает нас. Ох, батюшка! До времени! Время придет, Он и спросит.

Протопоп прорекал наставительно, чтоб не больно-то римский выученик, знаменитость заезжая морду драл перед русскими людьми. Сразу ведь видно – второй Крижанич.

Однако в семью прилетел Аввакум на ангельских, на белых крыльях. Про Симеона думать забыл. Всё нутро, всякая жилка и кишочка тряслись в нем от великой радости. Такое ведь и не приснится! Царь к себе зовет жить! Да ведь впрямь к себе! В Кремль, за высокую, за белую стену, где терема лучших людей царства.

– Батька, что-то ты сам на себя не похож, – всполошилась Анастасия Марковна, глядя, как молчит Петрович, как на стол-то локтем оперся да голову на руку положил... – Батька, чего?

– Да чего? В Кремле просят жить.

– В Кремле?! – Марковна поглядела на печь, где сгрудились бабы-домочадицы.

– В Кремли-и?! – ужаснулась Фетинья.

Страх стоял и в глазах Анастасии Марковны.

– Дуры! – осерчал Аввакум. – Природные дуры! Им говорят: в Кремль пожалуйте, – а они юбки замочили.

– Замочили, батюшка! – повинилась Фетинья, сделавшая лужу. – В Кремли-то, чай, царь живет.

– А ну, живо собирайтесь, пока не прибил! – топнул ногою Аввакум.

– Не гневайся, батюшка, – выскочила проворная Агафья-черница, сдергивая с окон свои занавески. – В одиночасье уложим скарб-то!

А Марковна все не могла в себя прийти:

– Из-под сибирской сосны да в кремлевские палаты? Искушение, Господи...

17

– Братск и Нерчинск выдюжили, перетерпим и Кремль, – посмеивался Аввакум, вводя Анастасию Марковну в светлицу нового жилья.

– За что, батька, честь?

– Видать, за муки наши. Али не заслужили?

– Петрович! – тихонько, но строго осадил Анастасия Марковна.

– Да я что?! Дом, говорю, хороший. Государю спасибо.

– И государыне, – подсказал Федор-юродивый. – Великий государь рад тебе, протопопу, соломки настелить.

– Какой еще соломки? – не понял Аввакум.

– Соломка горит хорошо, – засмеялся Федор.

– Чего болтаешь, спрашиваю?

– А чего не болтать? Язык без костей.

– Устраивайтесь, – махнул рукой Аввакум, достал из ларца Псалтирь, открыл, где открылось, прочитал: – «Господь сказал Мне: Ты Сын Мой. Я ныне родил Тебя, проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе. Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника».

Окинул взглядом высокий потолок, оконца рядом, лавки дубовые, дубовый стол.

– Палаты новые, а живы старыми молитвами. Намолёного наперед не бывает. Украшение дому надобно.

Сказал сии загадочные слова и ушел.

Воротился, когда уж все пообедали, не дождавшись хозяина. С великим шумом пожаловал.

Визг, будто собаку кнутом порют, рев звериный, лязг железа. Люди кричат, протопоп кричит.

Фетинья от страха двери на засов, да умная Агафья-черница тут как тут. Оттолкнула глупую бабу, отворила двери, и вовремя. Батюшка протопоп уж на крыльце, с цепью в руках, а на цепи чудище косматое.

– Детей убери! – закричал Агафье да и повалился на нее, шарахнувшись: чудище изловчилось, схватило протопопа пастью за сапог. Иночица бесстрашно рванула цепь в сторону, Аввакум опамятовался, пособил. Так вот и втянули сидящего на гузне в дом, жующего сапог... человека, Господи.

– Крюк! – закричал протопоп выскочившим к нему навстречу Ивану и Прокопию. – Ищите, несите крюк, в стену вбейте... Да в углу, безмозглые! В углу!

Анастасия Марковна глядела на пришествие, опустивши руки. Агафья же, сообразив, помогла батюшке скинуть сапоги.

– Вот оно – спасение наше! – сказал Аввакум, отирая пот с лица. – Филипп-бешеный – украшение палат наших.

Иван с Прокопием проделали кольцо цепи в крюк, крюк вколотили в стену.

– Меня тебе мало? – спросил Федор-юродивый главу семейства.

– Будь рад товарищу, – сказал Аввакум. – Принеси соломки да гляди не кривляйся. Подумает, что дразнишься, да и съест тебя.

– Батька, коли бедный Филипп без разума, зачем же ты его привел? – огорчилась Марковна.

– Чтоб мы с тобою не забывали о страждущих... Бог даст силы, выгоню из Филиппа беса.

– Ты бы поел, батька. Мы тебя не дождались. Уж вечерня скоро.

– Налей нам щец с Филиппом.

– В одну чашку?

– В одну... – сел на пол перед вздремнувшим несчастным.

Во цвете лет человек. Волосы – лен, но уж грязные, не приведи Господи. Сплелись с бородою. Вши ходят, как муравьи в муравейнике, из-под ворота, по волосам, по бровям. Брови у переносицы как сломаны, вверх растут косицами. И на каждой волосинке по вше. Губы в корках, треснувшие, кровоточащие.

– Батька, ты хоть отстранись! – попросила Марковна. – На тебя ведь переползут.

– Вот и почешемся в согласии, – сказал Аввакум, довольно улыбаясь пробудившемуся Филиппу. – Сейчас поесть нам принесут, а куда прочитай Исусову молитву.

Филипп беззлобно рыкнул, но глаза отвел, голову опустил.

– Не знаешь, что ли?

Филипп мотнул головой.

– Не знаешь? Тогда, брат, потрудись, поучи. Дело нетрудное. Повторяй за мной. Молитва и осядет в голове. Ну, с Богом, милый! «Отче наш, Иже еси на небесех...»

Филипп, глядя Аввакуму в лицо, приблизил львиную свою голову и клацнул белыми сильными зубами перед самым носом протопопы.

– Батюшка! – вскричала Фетинья.

Аввакум отшатнулся, встал, взглядом подозвал Ивана.

– Дай ремень.

Жиганул Филиппа по спине.

– А ну, повторяй за мною... «Отче наш, Иже еси на небесех...»

Филипп запрокинул голову, завыл, как волк. Ремень обрушился на его плечи с такой силой, что бешеного пригнуло к полу.

– Повторяй! «Отче наш!» – гремел Аввакум и бил, хлестал, слушая в ответ собачий лай, козье бляенье, кошачьи вопли.

Анастасия Марковна встала между протопопом и Филиппом.

– Ты привел его, чтобы до смерти забить?

Аввакум отбросил ремень, треснул жену рукою в плечо, благо успела лицо заслонить.

– Ножницы подай! – С ножницами кинулся к Филиппу, обстриг в мгновение голову и бороду. – Федор, тащи котел с водой! Обмой, сними с него платье. Пусть бабы в печи прокалят. В мое обряды.

Так и не поел, отправился слушать вечерню. С крыльца сошел – царская карета едет. Алексей Михайлович Аввакума усмотрел, остановил лошадей. Не поленился на землю сойти из кареты.

– Благослови, батюшка протопоп.

Как же не благословить склоненную царскую голову? Благословил.

– К вечерне идешь?

– К вечерне, великий государь.

– Надо тебе место подыскать. Помолись обо мне, грешном. Помолись о царице, о царятах моих, а пуще об Алексее Алексеиче. Похварывает. Девицы мои уж такие резвые, щеки как яблоки, а царевичи – что старший, что младший – болезные.

– Помолюсь, великий государь. Бог милостив.

Царь сел в карету, поехал, а к Аввакуму Богдан Матвеевич Хитрово прыг из возка.

– Благослови, протопоп. Помолись обо мне, грешном.

За Хитрово следом князь Иван Петрович Пронский, главный воспитатель царевича Алексея.

– Благослови, батюшка!

За Пронским – князь Иван Алексеевич Воротынский.

– Благослови, Аввакум Петрович! Домой тебя к себе жду. Завтра же и приходи, хоть к заутрене. Помолимся.

Диво дивное! Вчера ты никто, в избушке доброго человека теснишься, а ныне к тебе толпой идут именитейшие люди. Куда денешься – царская любовь!

Ответил Аввакум князю Воротынскому с достоинством:

– На заутреню не успею, в иное место зван. На обедню к тебе приду.

Никто никому протопопы не звал, да пусть небожно возносятся. Перед Богом все равны.

В Успенском соборе хотел вечерню стоять, да передумал. Отправился в дом к Федосье Прокопьевне, к боярыне Морозовой.

Двери вдовьего дома отворились перед протопопом без мешканья. Встретила его на крыльце казначея Ксения Ивановна.

– Тогда уж приходи на обед.

– Благодарствую.

– Боярыня слушает вечерню, не смеет с места сойти, чтоб тебя, протопоп, встретить.

– Проводи и меня в церковь, вместе с боярыней помолимся, – сказал Аввакум и посокрушался: – Грешен, припоздал. Сам согрешил и других в грех ввожу.

– Боярыня тебе рада, – объявила Ксения Ивановна и пошла впереди, показывая дорогу.

В просторных сенях было светло, пахло мятой, полынью. Первая комната зело удивила протопопа. Полы крашены белой блестящей краской, стены обиты белой узорчатой тканью, будто изморозь выступила. Другая комната была красная, темная, тесная. Громоздился шкафы, сундуки, столы. Тяжелые, витиеватые от резьбы. Все мореный дуб да красное заморское дерево. Пол выложен яшмой. Иконы на стенах тоже тяжелые, огромные. Все в ризах, серебро, позолота. На венцах драгоценные каменья, жемчуг.

Книга на столе чуть не со стол. Обложена золотом, а по золоту – изумруды. Аввакум остановился, озирая сокровищницу, но Ксения Ивановна отворила уже следующую дверь, ждала на пороге. Вошли в светлицу. Комната оказалась совсем нехитрая. Дюжина окон по шесть в ряду. Изразцовая золотистая печь, голые лавки. На полу домотканые крестьянские дорожки, на стенах покровы: кружева, всякое плетение. Иконы тоже крестьянские. Прялки возле окон, пяльца.

– Сюда, батюшка, сюда! – шепотом звала Ксения Ивановна, пропуская Аввакума в комнату-моленную.

Обдало запахом ладана, свечей. Свечей было много, но после светелки глаза не видели.

Поскрипывало кадило, женский голос читал псалом, и в этом голосе трепетала лихорадка.

– «Господи! силою Твоею веселится царь и о спасении Твоем безмерно радуется».

Чтение оборвалось на мгновение, а когда возобновилось, голос прозвучал, как из колодца:

– «Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул, ибо Ты встретил его благословениями благодати, возложил на голову его венец из чистого золота...»

Колодец был огнедышащей бездной, певчая птица, биясь о стены, выпорхнула почти, но крылья не вынесли жара, вспыхнули, птица вспыхнула, а голос почти умер от переполнившей его страсти:

– «Он просил у Тебя жизни; Ты дал ему долгоденствие на век и век».

Теперь шелестел шепот, как шелестит пепел:

– «Велика слава его в спасении Твоем; Ты возложил на него честь и величие. Ты положил на него благословения на веки, возвеселил его радостью лица Твоего...»

Аввакум не удержался и подхватил полным голосом это моление о царе и царстве.

– «Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, десница Твоя найдет ненавидящих Тебя. Во время гнева Твоего Ты сделаешь их как печь огненную; во гневе Своем Господь погубит их, и пожрет их огонь».

Глаза привыкли ко мраку и к свечам. Аввакум разглядел попа Афанасия, заканчивающего каждение икон, и чтницу – Феодосию Прокопьевну.

Боярыня и прежде слышала присутствие протопопа, но даже бровью не повела в его сторону. Он видел: виски ее светятся белизною. Федосья Прокопьевна глаз не отрывала от Писания, но нежные губы ее сами собой складывались в улыбку.

Помогая Афанасию служить, Аввакум и Федосья пели согласно и с особой радостью песнь пророка Аввакума – прозрение о пришествии Божьего Сына:

– «Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, – но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего».

Лишь по окончании службы Федосья Прокопьевна подошла к Аввакуму и пала ему в ноги.

– Благослови, батюшка! Пропали мы здесь, в никонианской мерзости.

– Встань, боярыня! Встань! – приказал протопоп.

Благословил, но выговаривал сердито:

– Не люблю служений на дому. Чай, не в пустыне живете. Это в Сибири что ни ель, то храм. Не всюду в Москве по новым книгам служат. Нынче, слышал, вольному воля.

– Когда бы так! – вздохнула боярыня. – Но ты, батюшка, прав. У меня в Зюзине в храме истинное благочестие. Поехали, батюшка, в Зюзино! Отслужи литургию, причаститься у тебя хочу, тебе исповедаться.

– Не мне, Федосья, Господу! Где сынок твой?

– Да в Зюзине. На охоту уехал.

– Вырос.

– Не ахти, батюшка. Двенадцать лет. Был бы больше, женила бы, а сама постриглась...

– Хитрое ли дело – жениться, – усмехнулся Аввакум.

– Для Морозовых, батюшка, простое не просто. За такими родами, как наш, зорко глядят. И царь, и бояре. Дворяночку милую не сосватаешь. Не позволят древнюю кровь молодой разбавлять... Поехали, батюшка, в Зюзино. Смилуйся.

– Афанасий, – попросил Аввакум, – сходи к Анастасии Марковне. Скажи, в имение поехал, к боярыне Федосье Прокопьевне.

– Отнеси, друг мой Афанасьюшко, протопопице десять рублей, – спохватилась боярыня. – На обзаведение. Хлеб пусть не покупает – пришлю. Все пришлю.

Дала Афанасию деньги, слугам приказала приготовиться ехать в Зюзино, Аввакума же повела в комнату, где лежала книга в золотом окладе. Села говорить о премудростях духовных, но Аввакум сказал:

– Я хочу пить.

Слуга и наперсница Федосьи Анна Амосова – дворянка, уж так похожая на горлицу, будто только что скинула крылья и перья, – принесла кваса, настоящего на изюме, шипучего.

– Все жилочки-кровиночки перебрало! – изумился протопоп зело колючему квасу.

– Голову прочищает, – согласилась Федосья Прокопьевна и открыла книгу на нужном ей месте. – Объясни, батюшка, много раз читывала, а понять не могу. Вот послушай: «И остался Иаков один, и боролся Некто с ним, до появления зари; и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. И сказал ему: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков. И сказал ему: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь. Спросил и Иаков, говоря: скажи мне имя Твое. И Он сказал: на что ты спрашиваешь о имени Моем? (Оно чудно.) И благословил его Там».

– Что же ты хочешь узнать у меня? – спросил Аввакум.

– Батюшка, смилуйся! Как можно с Богом бороться? Да чтоб у Господа сил не хватило мужика одолеть? Господь Бог еще и просит: заря уж скоро, отпусти! Почему Господь Бог зарито боится?

– Читай Осию-пророка: «Еще во чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом». Об Иакове сказано.

– Как Бог терпел такого? Ведь вон когда еще не смирялся перед судьбою, во чреве!

– Всякое, что Господом делается, есть притча и тайна, – урезонил Аввакум Федосью. – Кто они, жида-израилетяне, как не богоборцы? Исуа Христа ни во что ведь ставят. Висят на Господе, на любви Его, как висел Иаков, выходя из чрева, хватая пята Исава. А почему Бог зари убоился? Что тебе сказать? Да стыдно было показать людям и тварям, как Он милует жидов, зная, что они Сына Его по щекам будут хлестать, что им разбойник праведного милей... Потому и обволокла ложь сердца их на веки вечные.

– Не люблю об Иакове читать, – призналась боярыня. – Он ведь за чечевичную кашу да за кусок хлеба у голодного Исава, после трудов его на поле, первородство купил. Исав хлеб вырастил, убрал, смолот, а потом еще и выкупал у обманщика.

– Трудное место, – согласился Аввакум. – Дети Иакова тоже ведь лукавые. Убили честного Сихема. Он согрешил, да ведь покаялся. За Дину родство свое предлагал, готов был заплатить любое вено... Жида – они есть жида. И первый жид – Никон, второй – царь-батюшка.

Брякнул с разгона и смутился. Федосья Прокопьевна аж ахнула:

– Господи, пронеси! Не говори так, батюшка.

– Согрешил, – согласился протопоп. – Я у Господа, у Заступницы – вот тебе крест, Прокопьевна, – вымолю. Будет Алексей Михайлович чист и бел, как новорожденная ярочка. Михайлыч Бога крепко боится, не посмеет посягнуть на веру отцов. Опамятуется, голубь.

19

И снова катил протопоп в карете.

Изумлялся бегущим впереди и по бокам скороходам, всадникам на белых лошадях, рыскающим за каретой шестью рядами, зевакам, ради погляда облепившим заборы, деревья, крыши. Сметливый пострел в новых лапоточках на трубу забрался.

– Сколько же слуг-то у тебя? – спросил Аввакум боярыню.

– Триста.

– За царем меньше ходят, сам видел.

– Федосье Прокопьевне одного возницы хватило бы. Боярыню Морозову, батюшка, везут. Замуж вышла – удивлялась нашим выездам, а муж помер – от страха этак шествую, чтоб никому в голову не пришло обидеть меня, вдову, а того пуще Ивана Глебовича.

В Зюзине поезд боярыни встретили колокольным звоном.

– А это кому слава? Федосье Прокопьевне или тоже боярыне? – не утерпел Аввакум.

– Боярыне, батюшка, боярыне. Я у царицы четвертая персона. Привыкла, батюшка... По молодости мало что понимала... А нынче... Не скажи ты мне, я бы и не призадумалась.

По широкому двору с кустами цветущей черемухи хаживали павы и павлины. Сверкая жгуче-черным с золотым оперением, бегали между величавыми птицами суетливые крошечные курочки и петушки.

Крыльцо с резными столбами, пол в комнатах, как доска шахматная, мрамором выложен.

Сын Федосьи Прокопьевны, Иван Глебович, выскочил к матушке всклоченный, заспанный.

– На глухарей ходили, на збрю!..

Глаза виноватые, но веселые. Простите, мол. Незадача! К Аввакуму вежливо под благословение подошел, глянув вопросительно на мать: кого привезла?

– Сын мой драгоценный, возрадуйся! – сказала Федосья Прокопьевна. – Пожаловал к нам протопоп Аввакум. Полюби батюшку. Его, света, за правую веру в Сибирь гоняли.

– Как ты крестишься? – спросил протопоп отрока.

Иван Глебович вдруг вспыхнул, будто щепочка сосновая, поднял руку, сложив указательный палец со средним.

– Наш человек! – одобрил Аввакум.

А у Ивана Глебовича щеки опять пыхнули.

– Ох, батюшка! – перекрестилась Федосья Прокопьевна.

– Сам скажу! – опередил мать отрок и пал на колени перед протопопом. – Смилуйся! Отмоли мой грех! Я на людях иначе персты слагаю.

– Мы лицемеримся, – призналась боярыня.

– Типун тебе на язык! – вспылил Аввакум. – Любите сладкими словами потчевать. «Ты, батюшка, молодец, что за веру терпишь! Она, аж до Нерчи допер! А нам, батюшка, бока наши жалко, спинку нашу белую, боярскую, кнутом не стеганную! На тебя, свет, охотно поудивляемся, поахаем, хваля твою отвагу, а сами – ни-ни! Мы – полицемеримся, нас и не тронут».

– Ты побей меня, протопоп! – заплакала Федосья Прокопьевна. – Возьми кнут потолще, стегай немилосердно, до беспамятства стегай!

Аввакум плюнул, растер плевков и сел на бархатное креслице, отвернувшись от боярыни, от ее сына. Да сообразил: уж очень удобно сидится. Поерзал, вскочил, на кресло тоже плюнул.

– Как же вам, господам, не лицемериться? Тут мягко, там вкусно. Здесь глазам радость, ушам приятствие... Но будет вам ужо! Плач, скрежет зубов, страдание вечное.

– Поучи нас, батюшка! Поучи! – Федосья Прокопьевна до земли поклонилась протопопу, Иван Глебович лбом об пол ударил.

– Поучиться хотите? Поучу, – согласился Аввакум. – Где у тебя Писание, Федосья?

Анна Амосова, приехавшая с боярыней, тотчас подала книгу.

– Вам, мудроватым боярам, и ученье небось нравится мудренное?.. Отведайте-ка, коли так, «Премудростей Соломоновых». Вот отсюда возьмем: «...не в долговечности честная старость и не числом лет измеряется, седина же есть мудрость для людей, и нескверное житие есть возраст старости». Толкуй читанное, отрок! Толкуй, милый, мы с матушкой тебя послушаем и свое скажем.

– Не смею, – пролепетал Иван Глебович и сделался бледен, как очищенная луковка.

– А ты – смей! Душа твоя, кто о ней больше твоего должен заботиться? Душа – как сундук с золотом. Золото можно растратить попусту, и душу тоже погубить легче легкого. Соблазн не только вокруг, но и внутри нас гнездится. В сердце. Дерзай, Иван Глебович.

Обычно девушек с березками сравнивают. Ваня тоже был как березка, едва забелевшая. Молодые березки на глаза не любят попадаться. То в ольшаник спрячутся, то за елками.

От Аввакума, от пронзительных взоров его негде было укрыться, но смутился сам же Аввакум. Запал ему в сердце отрочий испуг. О чем, про что? Но уж такой страх, такая вина плеснула из глаз Ивана Глебовича, что детской этой виной пронзило протопопа до самых пяток.

Иван Глебович, однако, робость пересилил и сказал внятно, в словах не путаясь:

– Не своей дерзостью, приказанием твоим толкую, батюшка, псалом. Мудрость не от седины старости, безгрешная жизнь наполняет человека мудростью.

– Добре! – воскликнул Аввакум. – Теперь слушай, что я прибавлю к твоему толку. Блажен и преблажен тот, кто не языком награду духовную зарабатывает, а несотворением зла ближнему, родне своей, христианам драгоценным. Окаянные и бездумные отекают от веры Христовой, от истинной старой премудрости. Ловит их бес, прилепляет говном своим к молодой вере. У иного сединой голова изукрашена, как гора поднебесная, но коли возлюбил сей патриарх никонианские книги, седина не спасет, шлепнется с высоты разума старопечатных московских книг в бездну. Такой, Господи, хуже младенца, пихает в рот, яко щепу и кал, ложь и неправду блядивых никонианских книг. Сед, многодетен, но младенец!

Аввакум перелистнул страницу, ткнул пальцем в текст.

– «...вознегодует на них вода морская, и реки свирепо потопят их, восстанет против них дух силы и, как вихрь, развеет их. Так беззаконие опустошит всю землю, и злодеяние ниспровергнет престолы сильных». Теперь ты толкуй, Федосья Прокопьевна.

– Ах, батюшка! – Боярыня раскраснелась, как давеча сынок ее, через строгую личину проступила милая девичья стыдливость.

– Ответствуй, коль спрашивают!

– Беззаконие и впрямь разбойник из худших, – скороговоркой пролепетала боярыня. – Кто бы ни пограл истину, тот и сам грешен, и на других грехов напустил. Поступился совестью патриарх Никон и сам же себя совлек с престола своего.

– Верно! Сам себя спихнул с Божьего места, – подхватил Аввакум. – «Вознегодует вода морская» – тут толк ясный: грешные праведных будут гнать. «Реки свирепо потопят их» – грешники на праведников ногами встанут, а праведники, хоть задавленные, – не смолчат, праведными словесами стрелять будут метко. Не обмишурится праведник-то, уж как пустит слово свое о Христе на собаку никонианина, тотчас неправду в еретике-то и заколет.

Чуть не целую неделю жил Аввакум у боярыни Морозовой, на ум наставлял.

Икалось в те дни святейшему Никону с утра до вечера. Водой того икания было не запить, корочкой хлеба не заесть.

20

Никон и впрямь икал. Собирался на Иордан[37] с утра, помолиться среди расцветших ив. Цветение ивы всякую весну пробуждало в сердце патриарха сладко-горькую тоску.

Но утром попотчевали новостью: царские слуги поймали монаха, который нес его письмо новому Иерусалимскому патриарху Досифею. Никон просил в том письме не поддаваться уговорам московского царя, не ехать в Москву судить святейшего, возведенного на престол Божьей волей. Неистовый самодержец Алексей дерзостно возмечтал, чтобы патриарх был у него комнатным слугой.

За свое письмо Никону не было стыдно, но если монах развяжет язык, то царские слуги узнают, какой слух приказано было пускать в Туретчине: патриарх Никон страдает-де за увещевания царя не идти войной на крымских татар, на османские пределы.

– Приготовьтесь гостей принимать, – сказал Никон келейникам. – Коли будут кричать – молчите, станут кости ломать – кричите. Вежливые допросы страшней. На вежливых допросах ловят не на слове, на взгляде. Ну да Бог милостив. Слуги у батюшки-царя дурак на дураке.

И однако ж, прежде чем идти на реку, Никон просмотрел бумаги, иные отдал келейнику, чтоб унес в подвал, в амфору с ячменем.

Тут келейник подкатился с виноватыми глазами:

– Смилуйся, святейший! К тебе боярыня. Не все еще дорогу к нам забыли.

– Просительница небось! Скажи ей, патриаршьё слово нынче дешевле крика петушиного. Царь слышит, да не побеспокоит себя, чтоб даже на бок повернуться.

– Говорил ей, святейший. Не отступает.

– Кто такая?

– Шереметева. Жена Василия Борисовича, что у татар в плену.

– Шереметева... Выслушать выслушаю бедную, да чем помогу? Как ее зовут, запомнил?

– Прасковья Васильевна.

– Она из чьих?

– Дочь Василия Александровича Третьякова.

Никон усмехнулся:

– А Третьяковы-то не чета Романовым, потомки императоров Византии, от василевса Комнина ведут род, от князя Стефана Ховры.

– У боярыни ноги болят! – предупредил, спохватясь, келейник.

Боярыню внесли в кресле. Никону пришлось подойти к ней для благословения.

– Святейший! – прошептала Прасковья Васильевна, омыв слезами руку патриарху.

Лицо холодное как лед, белое как снег. Глаза же будто не перелинявшие к зиме зайцы. И такие же сироты.

– Я о Василии Борисовиче молюсь, – сказал Никон. – Забыл царь большого своего воеводу. Быстро забыл.

– За Василия Борисовича татары просят тридцать тысяч червонцев... Четвертый год в плену!

– А я шестой! – сказал вдруг Никон. – Нет у меня, госпожа, ни золотых, ни серебряных. Милостыней перебиваюсь. Милостыню наперегонки несут царским любимцам и мне несли... Гонимых, госпожа, боятся. Ты смелая, коли к Никону приехала.

Прасковья Васильевна опустила голову.

– Отчего родственники денег не соберут? – спросил Никон с раздражением. – Ведь Шереметевы!.. Мачеха Василия Борисовича – княгиня Пронская. Ее брат Иван Петрович, чай, дядька у царевича! Из обласканных...

– Я потеряла надежду, – прошептала Прасковья Васильевна: скажи в голос, и заголосишь на весь монастырь. – К родне лучше не ездить – боятся меня. Как чумы боятся.

– Не поминай красную! Чума, Прасковья Васильевна, страшней всего на свете. Пережили. Я от чумы семейство царя спас... Все забыл Алексей Михайлович. Меня – первого, твоего мужа – второго. – Посмотрел боярыне в глаза. – Когда соберешь большую часть выкупа, дам двести червонцев. На черный день берегу.

– Кто десять золотых пообещает, кто аж тысячу, но ни один не позолотил моей протянутой руки. – Серые глаза Прасковьи Васильевны стали темными. – Не верю тебе, святейший! Не верю в бедность твою! Унесите меня отсюда!

Слуги подхватили кресло, и Никон опаматоваться не успел, как уже по двору прогрехотала карета. С размаха вонзил в пол посох:

– Кому дерзят?! За что?!

Вздымая вихрь, влетел в спальню, упал в одеждах, с посохом, на постель. Лежал, ни о чем не думая, не гневаясь, словно сто лет кряду орал на безумцев во все горло. Горло и впрямь ломило, будто надсадил.

Разом поднялся, мимо всех, ни на кого не взглянув, ни на единый поклон не ответив, прошел по дому, по двору, за монастырскую стену и остановился лишь над водами Иордана – Истры.

Вода была кучерявенькая, катила завиток за завитком.

Бережно касаясь рукою пушистых ивовых цыпляток, Никон пробрался через заросли на заветное свое, на потаенное место.

Под ногами сплошь одуванчики – золотая парча земли. Кругом стена из прутьев. Даже с реки поляна закрыта древней, растущей из-под берега ветлой. Здесь ему было покойнее, чем за каменными стенами. Чувствовал себя как насадка в корзине.

– Господи, вот он я, грешный! – прошептал Никон, опускаясь на кривой ствол, удобный, как седло.

Смотрел на завитки воды, на пушистые комочки цветущей ивы, тянущиеся к лицу, на гору, на храм Воскресения.

Храм был огромный. Вздымался как облако. Но до завершения далеко. Строить и строить.

– Что я наделал, Господи?! – прошептал Никон, роняя посох. – Что я наделал?!

Бил поклон за поклоном, не произнося даже «Господи, помилуй». Царь стоял перед глазами. Ласковый, умноглазый. Ручкой повел окрест: «Господи, какое дивное место! Господи, как Иерусалим!»

До сих пор наполнены уши сим царским восторгом:

«О ненавистники! Не грешный Никон придумал Второй Иерусалим. То прозрение вашего царя, помазанника Божия. Это царь увидел и узнал. Потому и названа гора откровения – Елеоном».

Никон медленно поднялся с колен. Осенило вдруг: «Есть Фавор, Голгофа, Вифлеем, а Назарета все еще не обрели... Скудельниково! Чем не Назарет? Родина Иисусова...»

Подошел к реке, зачерпнул ладонью воды, умылся.

– Предтеча, милый! Иоанн, пророк большой! Столько ночей пережито в думах о тебе! Столько молитв и взываний тебе возглашено! Неужто с колеса судьбы невозможно отлепиться? Грязь-то слетает! Что же мне-то не отпасть?

Никон закрыл руками мокрое лицо.

– Господи, что я наделал?! Почему царь, мягонький Алексеюшка, почему он-то хуже каменного жернова?

Встал перед глазами чернявый Паисий Лигарид. Хорь вонючий. На всю Россию навонял, набрехал. За таких вот иудеи страдают. За таких гонят их и жгут.

Три часа без передыху бил поклоны опальный патриарх, но знал сердцем: ничего не воротишь. Воды судьбы перекрутят жернов, и быть зерну мукой...

– Мукой! – вырвалось у Никона. – А все ж ты, царь, был щенок и подохнешь в щенках. Еще не завтра одолеешь друга собинного! Не наградил тебя Бог мужеством. Ты и перед жидом Лигаридом будешь на брюхе ползать, как передо мною ползал, ибо по природе ты – червь.

Досада и ярость – пустоцветы. Слово, сказанное всуе, пронзает тратящего Божью благодать.

Расплакался. В детстве так не плакал, от мачехи. И будто суховеем пахнуло: просохли глаза в единое мгновение.

– Погубит Алексей православие.

Сказал и ужаснулся: боли не испытал.

Возвращался в монастырь, чуть не ложась на посох. Бренность тела обрушилась на душу, как камнепад. И опять не было в нем боли, но желал, чтоб видели, как ему, святейшему, тяжело.

О Лигариде думал. На иудея нужен иудей. Такой же вьюн. Такой же хорь! Иудеи были в монастыре, но мелковатые – окуньки. Лигарид – щука.

– А кто же тогда самодержец-то? – спросил себя Никон и остановился. – Сом сонливый? Брюхо с глазами?

21

От чужой напраслины в человеке души не убывает.

– Ну, Алеша! – говорил Алексей Михайлович, и у него даже голос улыбался. – Смотри!

Пустил с рукавицы белого как снег кречета. Польшнуло крыльями – замри, не дыши. И замерли батюшка с сыном, и не дышали, глядя на дивный могучий взлет птицы – величавое, царственное восхождение с выси на высь.

Сокольники отворили клетку, и два селезня кинулись очертя голову на волю.

Царевич Алексей прозевал бросок хищного охотника. Вдруг посыпались перья, закувыркалась убитая в небе птица, а через мгновение как вытрясло над пресветлою землей еще одну махонькую подушку.

– Как он! Как он! – У отца слов не было от восторга.

Царевич опустил взгляд.

– Не углядел, батюшка.

– Да я не о том, как заразил! Алеша, милый, ведь он, пламень бел, двадцать ставок сделал! С двадцатой высоты пал на селезней. Куда молнии до нашего Султана! Много кречетов видел, но этот – султан над султанами.

Алексей смотрел на отца и уж так его любил, и белого его кречета, его сокольников, его коней, его земли. Куда ни поворотись, все ведь царское.

– А знаешь, кто нас теперь потешит? – хитро прищурил глаза Алексей Михайлович.

Показал на гору, на золотые сосны, сверкавшие издали, как струны.

– Будто гусли Давидовы! – пришло на ум царевичу.

– Красно сказал! – восхитился Алексей Михайлович. – Ай, красно! У Симеона научился?

– Да нет, батюшка. Симеон меня латыни учит. Мы читали об Августе Октавиане. Он еще Божественным нарекался.

– Ишь, богохульник! – изумился государь. – И что же ты вызнал?

– Император Август владел половиной мира, но не войну любил, а мир. Варварских вождей заставлял в своем языческом храме присягать на верность миру.

– Знатно! – похвалил сына Алексей Михайлович.

– Уж и строгий был сей Август! Когорта перед неприятелем отступит, так беда! Каждого десятого предавал казни. Остальных кормил не пшеничным, а одним ячменным хлебом.

– Вот бы и нам так же! – сказал Алексей Михайлович. – Побежал дуролом Хованский от поляков[38], так его не за столы дубовые, не к лебедям да осетрам – на сухари, без пива, без кваса. Поумнел бы небось!

– Август, батюшка, говорил своим полководцам: «Лучше сделать поудачней, чем затеять побыстрей!» Никогда не начинал войну, если не был уверен, что, победив, получит больше, чем потеряет при поражении. Того, кто ищет малую выгоду большой ценой, сравнивал с рыбаком, который удит на золотой крючок. Оторвись – никакая рыба потери не возместит.

– Я твоему Симеону на пять рублей жалованье прибавлю, – сказал Алексей Михайлович, ужасно довольный. – Ну, сынок, а теперь смотри иную охоту. Бой так бой.

На горе, у сосен, их поджидали ловчие и удивительный всадник в остроконечном колпаке и с орлом на рукавице. Голова без шеи, на плечах лежит. Щеки, как два блина, а подбородок старушечий, пузырек с волосками, усы растут в уголках рта, рот тоже старушечий, морщинистый. Но удивительнее всего глаза: два длинных сверкающих лезвия.

– Кто это? – прошептал царевич.

– Калмык! – сказал Алексей Михайлович. – Под нашу руку всей своей ордой пошли. Гроза крымских татар. Да и как их не бояться, в плен никого не берут, ни воина, ни мурзу. Режут.

Калмык поклонился царю, поклонился царственному отроку, показал орла. Жуткая тоже птица. Клюв – черепа раскалывать, когти заточены, в глазах – смерть.

Калмык улыбнулся, шевельнул всеми своими несчетными морщинами и жестом свободной руки приказал ловчим начинать.

Под горою, Святогоровой бородой, версты на три, на четыре простирался узкий, поросший травой овраг.

Ловчие пустили по оврагу волка. Калмык, разогнавшись на лошади, кинул с руки орла, и тот поплыл над оврагом, роняя на волка тень крыльев.

Нырнул нежданно. Был и пропал. Но тотчас на дне оврага завизжал волк. Никогда не ведавший опасности с неба, волк кружился на месте, не понимая, кто рвет его и режет. Упал на спину, отбиваясь лапами от напасти.

Орел, лениво взмахивая крыльями, взлетел, повис над оврагом, чуть покачиваясь на восходящих потоках воздуха. Волк кинулся из оврага, но был опрокинут и скатился на самое дно. Побежал, прижимая голову к лапам. Орел гнал его без особого усердия. Когти-ножи висели над зверем и то и дело врезались в спину, в бока. Волк бросался в стороны, замирал, подскакивал. Тогда орел сел ему на спину и принялся бить клювом по голове – и бил, бил, покуда волк не смирился. Остановился, лег, умер.

Орел сидел на жертве, крутил башкой, и на клюве его была кровь.

– Дай ему еще одного – забьет! – ахали ловчие. – Башкой-то как поводит! Ищет! Ему и впрямь одного мало.

– Вот тебе и птичка! – изумился Алексей Михайлович.

Посмотрел на Алешу, а тот белый-белый, и глаза, как у птицы, закрываются-открываются.

– Алеша! А ведь нам с тобой в Измайлово надо поспешать! Новые кусты сегодня привезут.

Тотчас и поехали. С горы верхами, под горой в карету пересели.

... Чудо благоуханное возрастало в царском саду, царскими руками взлелеянное.

Государь всю дорогу говорил о розах, и царевич порозовел, отошел от кровавой орлиной охоты, сам пустился в рассуждения.

– Батюшка, – говорил он, заглядывая отцу в глаза, – а ведь если по всей Русской земле посадить розы, будет ли перемена?

– Перемена? – не понял Алексей Михайлович. – Ну как же не быть перемене?.. Коли елки растут – темно, коли березы – светло...

– Нет, – мотнул головой царевич. – Будет ли в поселениях перемена?

– В людях-то? – Вопрос показался преудивительным, царь не знал ответа. – От Бога перемены...

– Ну а коли Господь пошлет, чтоб розы возле изб развелись?

– Возле изб? Где же их набраться, сынок, розовых кустов? Мне ведь из-за моря их привозят. И задорого!

– Ну а если разведутся? По Божьей воле? Как рожь, как репа!

– Пожалуй, переменятся! – сказал Алексей Михайлович.

– Да ведь тогда, я думаю, избы тоже переменятся.

У Алексея Михайловича от такого рассуждения дух перехватило: какого царя посылает Бог будущей России! «Я думаю». Десять лет всего, а уж – «я думаю».

В Измайлове царя и царевича встречал не садовник, а Родион Стрешнев. Не больно любезную привез новость. Напрасно посылал великий государь быстрого гонца в Астрахань. Наказ вез, как встречать «Иерусалимского и Антиохийского патриархов, сколько им корму давать. На какие вопросы отвечать, а какие ни за что не слышать, в ум не брать и не сметь, не сметь пускаться в рассуждения».

Патриархи не приехали и не собирались приезжать. Алексей Михайлович про то знал, но у него была-таки надежда. Всё ведь в руках Божьих. Промыслит, и поедут как миленькие... Да только, видно, никакой молитвою Господа на свои хотения не перетащишь. Не тот век! Не та вера!

Ревновал Алексей Михайлович Господа к иным векам да к евреям, коим Иегова являлся, слушал их, прощал им грехи каменные. Сколько раз к сатане липли, как мухи к меду... Поди ж ты, иудеям – любовь, а русским – терпение.

Одно терпение от века и до скончания времен.

Поговорив со Стрешневым, подосадовав на свою досаду, решил государь окропить розы святою водой, молебен отслужить. Не погубил бы Господь цветы за умничанье. Тотчас отписал своею рукою два приказа. Первый – «ко властям Живоначальные Троицы в Сергиев монастырь к архимандриту Иосафу, к келарю старцу Аверкию, к казначею старцу Леонтию Дернову», второй – «в Саввин монастырь к архимандриту Тихону, к келарю Вельямину Горсткину, к казначею Макарию Каширскому – прислать в Измайлово масло освященное, святою воду да воду ж умовенную». К письмам государь приложил по пяти рублей милостыни.

На молебен поспел Федор Михайлович Ртищев. Служили в саду. Благостно было у царя на душе.

Ртищев привез воспитаннику подарочек. Литой стеклянный шар, расцвеченный изнутри фиолетово-голубой, от густого до нежного, спиралью. Сколько ни смотри, все равно удивительно.

Государю же поднес известице, и опять-таки не из приятных: в Замоскворечье, в Садовниках, где церковь Софии Премудрости Божией, прихожане сожгли новый служебник. А служит в той церкви в иные дни протопоп Аввакум. К нему многие ходят, ибо из семи просфир частицы берет, не из пяти, как указано Никоном и духовными властями.

Алексей Михайлович никак на тот сказ не откликнулся. Иное поразило его, иное утихомирило душу и жгучее движение крови по жилам.

Царевич, поспавши после обеда, собирал землянику в дальнем углу сада. Там дикая земля, березки островком. Веселое место! Лисички до того щедро роятся – ступить некуда, как по золоту ходишь. Земляника там аж черная, слаще изюма, съешь горсточку, а благоухаешь целую неделю.

Садовники показали государю, где его сынок. Алексей Михайлович и поспешил к березкам. Смотрит, стоит Алеша, к дереву спиной прислонясь, а на ладони у него – шмель. Огромный лохматый шмель! Такой если ужалит – света белого не взвидишь. Алеше ни на мал золотник не страшно, дивится на шмеля, а на лице сияние, будто от крыльев белых, ангельских. Шмель взгуднул, прошелся по ладони и полетел себе по делам своим, по шмелиным.

Испугалось у Алексея Михайловича сердце, не посмел сыну признаться о том, что видел. Алеша же, словно ничего и не случилось, подбежал к батюшке, повел лисичек показывать, собрал горсточку ягод, поднес.

Тут как раз и пожаловал Федор Михайлович.

Молебен о цветах – радость редкая.

Всем было хорошо, каждый чувствовал ангела за правым плечом.

И в такой-то вот богоданный час Алексей Михайлович кинулся вдруг к сокольнику, к тому, что кречета Султана пускал на селезней, к Кинтилиану Тоболкину.

– Бляжий сын! Покажи руку! Как крестишься, говорю, покажи!

Сокольник, перепугавшись, протянул к царю длань с сомкнутыми вытянутыми двумя перстами. Опамятовался, присоединил к двум третий, большой.

– То-то же! Архиепископ крестится тремя, царь – тремя, а он, раб, – как ему угодно. Али беду хочешь навести на своего государя? – Размахнулся сплеча, покалечил бы, да увидел страдающие глаза сына. Гнев так и фыкнул, дырочку в пузыре сыскал. Толкнул от себя государь сокольника: – Крестись как следует, дурак.

Молебен продолжался, служил архимандрит Павел, хорошо служил, пронимал словом и вздохом. Тоболкин позабылся, внимая молитвам. Персты снова сложились по привычке, как с детства складывались, как всю жизнь. Не так уж и много лет новшествам.

– Ах ты, враг! Ах, сукин сын! – Государь кинулся на сокольника с кулаками.

Оглушенный ударом, Тоболкин отмахнулся невольно да и въехал великому государю по губе.

– Дратья?! Взять его!

Напали на сокольника со всех сторон, повалили, поволокли... Взмолиться не успел, а уж ноги-руки закованы в железо. Кинули на телегу, и полуголова Василий Баранцев с десятью стрельцами повез государева преступника в Москву, в Разбойный приказ.

У царя губа кровоточила.

– Ты уйми своего протопопа! Уйми, говорю! – кричал государь на Ртищева.

Всю ночь царевич не сомкнул глаз, молился об отце. Алексей Михайлович услышал через стену шевеление, встал поглядеть, а сын перед иконами, на полу.

– Мои грехи замаливаешь, голубь ты мой!

Заплакал государь, велел лошадей закладывать. Погнал в Москву. Под полыхание зари по тюрьмам ходил, раздавал милостыню.

Сыскали в Разбойном приказе Тоболкина, а он уж бит и при смерти.

Поспешил государь в Большой дворец, лекарей к сокольнику послать. По дороге Аввакума встретил. Высунулся государь из оконца кареты.

– Батя! Помолись обо мне, грешном! О царевиче, свете, помолись!

Аввакум в ответ закричал, кланяясь:

– Помолюсь, великий государь! Помолюсь, Михалыч!

23

Евдокия Прокопьевна, сестрица Федосьи, сидела с протопопом Аввакумом на крыльце, душу изливала, а он глянул разок на нее, княгиню Урусову, и сказал:

– Помолчи, дура! Бог ради тебя старается, а ты языком треплешь.

В тот закатный час и вправду творилось чудо на небесах, над Москвою-городом, над Русью-матушкой, над царем и мужиком, над птицами, над муравьишками...

Три солнца шло на закат. Два ярых, златокипенных, третье – темное, пустое. Те, что светом полыхали, разделяла туча. Третье, темное, стояло в особицу и было как бельмо.

– Батюшка, не к концу ли света? – спросила Евдокия Прокопьевна, увидевшая наконец, что на небе-то творится.

– Молчи! – приказал Аввакум.

– Федосью, может, позвать?

– Да умри же ты, сорока! Умри от страха! – замахнулся на бабу протопоп. – Твори молитву тихую, без слов, душой молись, пропащая ты щebetунья!

Недолгим было видение. Облако распласталось вдруг да и закрыло все три солнца.

– Господи! Если про нас Твое видение, смилуйся! – прошептала Евдокия Прокопьевна.

Из сеней вышел Иван Глебович, негромко спросил:

– Батюшка Аввакум, что это было? Сказанье Господнее или предсказанье?

– Клади еженощно поклонов по тыще да живи, как Христос указал, – Страшного суда не испугаешься.

– Наш нищий Никанор тоже так говорит. Уж целую неделю в дупле сидит да еще просит кирпичом заложить дупло-то.

– Монах?

– Монах.

– Гони ты его, Иван Глебыч, искуителя, со двора, – посоветовал Аввакум.

– Да за что же?

– Помнишь, что с Исаакием, затворником печерским, стряслось? Роду он был купеческого, торопецкий лавочник. Небось немало скопил грехов, пока в лавке ловчил. Фамилия тоже была для купца подходящая – Чернь. Вот, видно, и решил все черное единым махом с души соскресть. Едва постригся, натянул на себя сырую козлиную шкуру и, войдя в пещеру, велел засыпать дверь землей. Семь лет сидел безвыходно. Думаешь, пророком стал? Целителем? Самого пришлось от болезней выхаживать, отмаливать, ибо высидел бесов. Явился ему злой дух в образе Лжехриста, а он раскорячился душонкой: мол, ахти, ахти, до святости домолился, да бух сатане в ноги, копыта лобызать. От радости все молитвы из башки вылетели. Крестом, худоба духовная, забыл себя осенить. А такие забывчивые сатане первые друзья. Вволю

бесы натешились над гордецом... Два года колодой лежал, до червей в боках... Господь милостив, сподобил Исаакия познать святую силу. На горящую печь босыми ногами становился, щели закрывал огню... Для затвора, Иван Глебыч, боярский двор – неподходящее место. Гони Никанора в монастырь, где есть крепкие наставники.

– Спасибо за науку, – поклонился Иван Глебович. – Матушка на трапезу зовет, она нашим нищим ноги омывает.

– Все-то у вас свое! – заворчал Аввакум. – Нищие и те «наши». Чего им у вас, у богатеев, нищими-то быть? Дайте деньжат, землицы, пусть сеют, пашут... Не всякий небось дворянин так живет, как нищие боярыни Морозовой.

Иван Глебович опустил глаза. Не ожидал такой суровости от духовного отца.

Федосья Прокопьевна и впрямь с лоханкой нянчилась, своими ручками ноги нищим мыла, отирала полотенцем. По ней-то самой уж вши ходили. Как умер Глеб Иванович, ни разу не была в бане. Только женское естество свое после месячных водой теплой баловала.

Нищих у боярыни в доме жило пятеро.

Принесли щи в большом горшке, ложки. Федосья, Евдокия, Иван Глебович, Аввакум сели с нищими за один стол.

Похлебали, поели каши, пирогов с грибами. После обеда Федосья Прокопьевна сказала сыну:

– Показал бы ты батюшке наших птиц.

– Пошли, батюшка! – охотно согласился Иван Глебович.

Повел протопопа на птичий двор.

– Нам от боярина Бориса Ивановича достались и соколы, и голуби, да еще скворцы.

– Скворцы? – удивился Аввакум. – Зачем боярину скворцы понадобились?

– Они все певучие, да еще и говорящие. Борис Иванович приказал скворцов-то наловить в Большом Мурашкине. Приказ исполнили, а Борис-то Иванович взял да и помер. Так всех птиц на наш двор привезли, моему батюшке, Глебу Ивановичу...

Не думал Аввакум, что птицы могут гневаться не хуже людей.

Две большие липы, и между ними длинная крыша на столбах, и все это под сетью. Скворцы, завидев людей, взмыли в воздух, орал человеческими голосами: «Здравствуй, Борис Иваныч! Дай зерен, Борис Иваныч! Пой, скворушка! Пой, скворушка!» Гроздьями повисали на сетке, теребили клювами витой конский волос. Летел пух, пахло птичьим пометом.

– Сколько же здесь скворцов? – изумился Аввакум.

– Тысячи три, а может, и пять.

– Но для чего они?

– Для потехи...

Аввакум посмотрел на отрока жалеючи.

– Что же ты не отпустишь птиц?

– Не знаю... Мы их кормим. Не хуже голубей.

– Отпусти! Лето на исходе, отпусти. Птицам за море лететь. Ожирели небось под сеткой.

– У матушки нужно спросить.

– Ты, чтоб комара на лбу своем шмякнуть, у матушки соизволения спрашиваешь? Добрые дела по спросу уж только вполовину добрые.

– Да почему же, батюшка?

– А потому, что за доброе человек такой же ответчик, как и за злое. Кто делает доброе, тот много терпит.

Глаза у Ивана Глебовича были перепуганные, а нос все же кверху держал, губы сложил для слова решительного.

– Ну-кася! – схватил косу, стоявшую у сарая, полосонул по сетке, да еще, еще!

Тотчас в прореху хлынул живой, кричащий, свистящий поток. Прибежали слуги.

– Снять сети! – приказал Иван Глебович.

Скворцы рыскали по небу. Одни мчались прочь, может, в Большое Мурашкино летели. Другие садились на соседние деревья, на крыши конюшен, теремов, на кресты церквей. И на всю-то округу стоял всполошный крик: «Здравствуй, Борис Иваныч! Дай зерен, Борис Иваныч! Пой, скворушка! Пой, скворушка!»

Прибежала Федосья Прокопьевна, за нею Евдокия, домочадицы.

– Божье дело совершил твой сын, – сказал Аввакум боярыне.

– Слава Богу, – перекрестилась Федосья Прокопьевна. – Борис Иваныч не обидится... Я все не знала, что делать со скворушками. А вон как все просто... Петрович, к тебе сын пришел, Иван. Федор Михайлович Ртищев зовет тебя о святом правиле говорить.

– Ну так молитесь за меня, Прокопьевны! Федор Михайлович ласковый, а сердце екает, будто в осиное гнездо позвали.

24

Не многие из окольных побегут на крыльцо встречать протопопа, а Ртищев опять-таки не погнушался. В комнатах Аввакума ждали архиепископ Рязанский Иларион, царев духовник протопоп Лукьян Кириллович.

Поклонились друг другу, помолились на иконы. Лукьян Кириллович начал первым про:

– Досаждаешь ты, батька, великому государю. Он тебя, свет наш незакатный, любит, жалеет, а ему на тебя – донос за доносом, один другого поганее. Мятеж Аввакум поднимает, учит восставать на церковные власти, просфиры выкинул, теперь вот служебники в Садовниках пожег.

– Я не жег.

– Ты не жег, да слово твое – огонь.

Лукьян Кириллович человек был красивый. Русая пушистая борода, большой лоб. Такой лоб хитрых мыслей про запас не держит. Глаза карие, строгие, но с лаской.

– Ты, Лукьян, русак, и я русак. Чего нам врать да пустомелить? Никон шесть лет пробыл в пастырях – и шесть разных книг по церквам разослал. В какой из шести благочестие и правда?

– Святейший Никон приказал править книги по писаниям Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Иоанна Дамаскина, по заветам Московских митрополитов Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, – вставил твердое словечко Иларион.

– Никон – сатана! – Аввакум плюнул на три стороны. – Все старопечатные книги ваш святейший объявил порченными, всех святых угодников русских в еретики произвел. Где он, Никонище, книги-то покупал нас, дураков, на ум наставлять? В Венеции! Вот уж место! Мерзопакостнее не скоро сыщешь. Папезеский блуд в тех ваших книгах, и больше ничего.

– Ты не ругайся, – приструнил протопопа Ртищев. – Давай рядком говорить.

– Давай, господин! Давай рядком. Живописцев, русским не доверяя, Никон выписал из Греции. Посохи у него – греческие, в глаза чтоб лезли. Клобук – греческий. Большой любитель бабам нравиться. Вся Никонова мудрость заемная, святость чужая... У него если и есть что русского, так руки, коими он душил и гнал православное священство от края до края. Вон как кидал! Я в Дауры отлетел, Неронов – в Кандалакшу, а епископ Павел Коломенский – аж на небо. В срубе спалил честного мужа.

– Никон государю ныне не указ, – сказал Лукьян. – Но доброго и ученого от святейшего немало перенято. Доброе хаять грех.

– Кого, чему Никон научил? Чему?! – Слова так и заклокотали в устах батьки Аввакума. – За всю сбфир жизнь – в архимандритах, митрополитах, в святейших патриархах – Никон ни единой школы не устроил. Ни единого гроша не истратил на учение юных. Ему саккосы было любо покупать, на жемчуга денежек не жалел, на цветное камень.

– А монастыри его за так, что ли, построены? – закричал в сердцах Иларион. – Я Никону не друг. Но Крестный монастырь в Кеми – его рук дело, Иверский на Валдае – его, а Воскресенский на Истре? Что ни год, то краше.

– На Истре?! Это у тебя на Истре, у него на Иордане... Подождите, Никон вам еще и рай построит, и Царствие Небесное. Погляжу потом на вас...

Не договорил, но так сказал, что Лукьяну почудились огненные отсветы на лице протопопа.

– Строить – не рушить, – сказал примиряюще Федор Михайлович.

– Да вот и он строит! – Аввакум ткнул пальцем в Илариона. – Видел я вчера одну икону. Симеон Ушаков писал...

– Макария Унженского[39], что ли?

– Макария... Желтоводского.

– Унженского и Желтоводского. Придирчив ты к словам, Аввакумушка. Иначе мы с тобой в прежние годы беседовали, в келье моей, в обители Макария.

– Ты другое скажи! Для чего икону заказывал изографу Ушакову, ради святости Макария или ради твоей похвальбы перед великим государем? Макарий на иконе не велик, зато велика каменная ограда, велик собор Троицы, незаконченный, без куполов, да ведь кто строил? Преподобный Макарий, предстоятель на небесах царствующего рода?.. Ты строил, себя перед царем выхвалил.

– Ты, Аввакум, не старайся, не рассердишь, – сказал Иларион, улыбаясь одними зубами. – Тебя батюшка мой любил, и я тебя люблю. Худое ли дело соборы строить? Отнекиваться не стану, желал, чтоб государь увидел, какова ныне обитель. Заслужить похвальное царское слово – дело, угодное Богу. А тебе самому не радостно разве, что храм Троицы в камне выведен? Не о том ли лбы ушибали, молясь ночи напролет?

– О спасении молились, – сказал Аввакум. – Храм поставить – лепо, да не лепо возглашать ко Господу «Верую» без «истинного». Покажи, Иларион, язык. Не усыхает ли язык у тебя?

Протопоп Лукьян тревожно заерзал в удобном кресле.

– О догматах, Аввакум, давай говорить... К чему поминать то да сё? Я на явление Казанской Богоматери в Туле служил. Так государь велел прислать серебряный оклад для местной иконы, а мне ради благолепия – золотую ризу, золотой крест, Евангелие в серебряном окладе – то, что в Белоруссии обретено. Мне, что ли, великолепии нужно? Оно людям дорого. Дорога забота государя о красоте, о величии внешнего и внутреннего благочестия. Оттого служим по новым правилам, что так служат во всех царьградских, во всех греческих и всего святого Востока церквах.

– Господь Бог еще отрежет вам уши. Сложит в сундук да и выставит народу напоказ.

Федор Михайлович, сокрушенно качая головою, открыл книжицу собственного рукописания и прочитал:

– «Когда православные просили Мелетия преподавать краткое учение о Пресвятой Троице, то он сперва показал три перста, а потом, два из них сложив и оставив один, произнес следующие достохвальные слова: три ипостаси разумеем, о едином же существе беседуем. При сих словах Мелетия осенило великим пресветлым огнем, будто молния слетела с ясного неба!» – Ртищев отложил книжицу и посмотрел на Аввакума кротко и приятно. – Как нам не слушать завет святителя? Ладно, что был он архиепископом славного града Антиохии, но он крестил и растил Иоанна Златоуста, а Василия Великого рукоположил во дьяконы. А уж как стоял за Христа против ариан – тому свидетелем три его изгнания.

– Святитель Мелетий был председателем Второго Вселенского собора, – сказал Иларион, – и во дни собора был взят Господом на небеса[40]. Доподлинно известно: благословляя народ перед первым заседанием, учил, как нужно творить крестное знамение, а именно тремя сложенными воедино перстами.

– Что говорено и заповедано Мелетием Антиохийцем, я знаю, – сказал Аввакум. – «Бог по Божеству и человек по вочеловечению, а бо обоим совершен». О двух естествах. Вот что заповедано Мелетием. Значит, и знаменоваться надобно двумя перстами. Петр Дамаскин[41] тоже не по-вашему глаголет: «Два перста убо и едина рука являют распятого Господа нашего Исуса Христа, в двою естеству и едином составе познаваема».

Царский духовник Лукьян, поглядывая на протопопа, быстро листал книгу.

– Аввакумушка! Слушай! «Три персты равно имети вкупе большой да два последних. Тако святые отцы указано и узаконено». Сей сборник митрополита Даниила[42]. Ты скажешь – о двоеперстии речено. А ведь это сказ о сложении перстов архиерейского благословения.

– Почитаем Ефрема Сирина, – предложил Ртищев, открывая книгу. – «Блажен, кто приобрел истинное и нелицемерное послушание, потому что такой человек подражатель благому нашему Учителю, Который послушлив был даже до смерти. Итак, подлинно блажен, в ком есть послушание, потому что, будучи подражателем Господу, делается Его сонаследником. В ком есть послушание, тот со всеми соединен любовью».

– Господу послушен, да не сатане! – закричал Аввакум. – Смотри, Ртищев, в «Стоглав»[43]. Там написано: «Кто не знаменается двумя персты, якоже и Христос, да есть проклят».

– Двоеперстие – обычай западный, – сказал Иларион. – Папа Лев IV[44] усердно насаждал двоеперстие, но и среди латинян были отцы твердые. Лука Туденский говаривал: «Мы знаменуем себя и других с призыванием Божественной Троицы тремя перстами простертыми, то есть большим, указательным и средним, другие два пальца пригнувши».

– Зело ученый человек Максим Грек[45] иначе учил, – возразил Аввакум. – «Жезл твой и палица твоя: о дву во палице составляется». Все ваши ухищрения – корм змею. Станет толст и могуч погубитель, вскормленный неразумными. И будет по речению святых отцов: «Внидет в люди безверие и ненависть, ссора, клятвы, пьянство и хищение. Изменяют времена и закон и беззаконующий завет наведут с прелестию, и осквернят священные применения всех оных святых древних действий, и устыдятся Креста Христова на себе носить».

Пря книжников – испытание веры, разума, тела. Петухи уже четвертую зорю кричат, а засадные полки несокрушимых истин еще только являются на поле брани.

Осоловеют спорщики, повянет мысль, ярость обернется корчами зевоты, но ударится слово о слово, как туча о тучу, полыхнут молнии, и опять никнут языки огня на свечах, распахиваются, колебля воздух, огромные фолианты, трещат страницы, так в буреломе сосна стучит о сосну. Пророчества и толки древних – раскаленными камнями падают на головы. Пещь гнева чернее пушечного жерла.

Три дня в одиночку против троих стоял Аввакум, сокрушая слово словом.

Ни единой буквицей не поступился батюшка. На четвертый день бойцы изнемогли, да так, что на заутреню не поднялись. Аввакум первым воспрял от куриного короткого сна. Ушел в церковь, оставил на поле распри поверженных.

Рек Ртищев Илариону да Лукьяну со слезами на глазах:

– Быть бы протопопу вторым Златоустом, да не наш!

Послал Аввакуму пуд меда.

25

Семейство и домочадцы обедали, когда пришли к их трапезе двое: пожилой, в рясе, и юный, в цветном веселом платье.

У порога темновато, стол от двери далеко. Сказал Аввакум пришедшим:

– Садитесь возле меня, ешьте.

И когда, помолясь, подошли и сели, увидел батька: Кузьма, брат, а молодой – сын брата.

Соблюдая правило насыщаться дарами Господними в благоговейном молчании, протопоп лишнего слова не проронил, но потекли из глаз его неуправляемые слезы, приправляя пищу.

Отобедали, сотворили благодарную молитву, и обнял Аввакум Кузьму, и ревели оба, не стыдясь глядевших на них.

– Радуйтесь! – сказал наконец Аввакум детям и спросил сына Кузьмы: – Прости, племянник, запомнил имя твое. Тебе было года два-три, когда угнали нас в Сибирь.

– Макар! – назвался с поклоном отрок.

– Смотрю на тебя, а вижу матушку свою, Марию. Та же кротость в облике, тот же свет в глазах.

Кузьма согласно кивал головою.

– Радуйтесь! – снова сказал Аввакум детям. – Есть у вас в Божьем мире родная кровь. Хоть один он, Макар, из всего потомства остался, а всё не сироты.

– Были ребята у Герасима, у Евфимушки, забрал Господь в моровое поветрие, – перекрестился Кузьма. – Есть родня в Поповском, в Григорове.

– Те люди по крови родные, по делам хуже чужих, – помрачнел Аввакум. – Как батюшка помер, выставили меня из Григорова старшие братцы, не пожелали делить доходы, а ведь прихожан в Григорове было много. Микифора да Якушку помнишь, Кузьма?

– Плохо. Микифор в Поповском священствовал, когда я, грешный, родился, а Якушка у батюшки в Григорове дьячком был.

– Кто старое помянет, – перекрестился Аввакум. – Ты меня, Кузьма, не ругай, живем в Москве, а не виделись. Я и дома редкий гость... Три дня и три ночи о догматах глотку драл с Ртищевым, с царевым духовником Лукьяном да с Иларионом. Водишь с ним дружбу?

– Больно высок для простого батьки! Да и живет от нас, грешных, далеко. Я, братец, в Нижнем Новгороде хлебушек жую, на посаде Архангела Гавриила. В мор убежали. Спас Господь. С Иларионом-то вы не разлей вода были.

– Были! В каретах полюбил ездить. За карету Христа продал. Эх, люди, люди! Отец – святой человек, братья – люди смиренные, что Петр, что Иван. Он ведь тоже Иван. Иван-меньшой. Ты помнишь?

– Вакушка! Как не помнить?! Я в Лыскове был, когда московский пристав заковал попа Петра да дьякона Ивана в железа. Неронов отбил Иларионовых братьев. Привел все Кириково, все Лысково. Приставу добре бока намяли. Он за пистоль, а ему по морде. Досталось потом одному батьке Неронову, в Николо-Корельский монастырь сослали.

– Жалко мне Илариона, – досадливо потряс головою Аввакум. – Как же мы с ним молились! Какие разговоры говорили об устройении церкви, благомыслия! Никон его смутил...

– Богатой жизни отведал... Он ведь женился на сестрице Павла Коломенского.

– Достаток у них с Ксенией был, а богатства – нет. Недолгое послал им Господь счастье. Как Ксения померла, Иван тотчас и постригся. Я в том году в Москву бегал... Двадцать лет минуло.

– Шестнадцать, – вставила словечко Анастасия Марковна.

– Пусть шестнадцать, – согласился Аввакум. – Постригли Илариона в день Собора Архистратига Михаила. А на другой уже год в игумены избрали. Батюшку-то его, Ананию, в патриархи прочили...

– Иларион, ничего не скажешь, распорядительный, расторопный.

– Косточки у него мягкие! Не косточки, а хрящики. Змей змеем. Колокола не отзвонили по восшествию Никона – Иларион уж на пороге, поклоны смиренные отвешивает.

– Не сразу он в силу вошел, – не согласился Кузьма. – Иконой Макария Желтоводского царю угодил да каменными храмами. При нем ведь монастырь из деревянного стал каменным. Колокольню с часами поставил.

– Часы и на деревянной были.

– А колокола? При Иларионе «Полиелейный» отлили. Во сто восемь пудов! «Славословный». В «Славословном» семьдесят три пуда.

– Не слышал о колоколах.

– Да тебя в те поры как раз в Сибирь повезли...

– Говорят, Иларион из игумнов в архиепископы за год скакнул?

– За год. Никон перевел его в Нижний, в Печерский монастырь. Посвятил в архимандриты. Полгода не минуло – вернул в Макарьев, а через три недели кликнул в Москву и сам рукоположил в архиепископа Рязанского и Муромского.

– Господи! Да что мы об Иларионе-то? Кузьма, родной! Помнишь, как твоими штанами налима на Кудьме поймали?

– Как не помнить? – засмеялся Кузьма. – И твой гриб помню. Стоим с Евфимкою на крыльце, царство ему небесное, а тут ты идешь: вместо головы гриб. Евфимка-то заголосил от страха.

Аввакум рассмеялся, да так, что на стол грудью лег.

– Грехи! Грехи! – кричал сквозь смех, утирая слезы. – Гриб-то был – во! Дождевик! Табак волчий. Невиданной величины! Тащить тяжело, бросить жалко: показать чудо хочется. Сделал я в нем дыру да и надел на голову.

Хохотали всем семейством.

– Вакушка! А ведь ты смешлив был! Ты засмеешься – весь дом в хохот, – вспомнил Кузьма.

Аввакум вдруг взгрустнул.

– Был смешлив, стал гневлив. Мэру бы знать. Нет во мне мэры. В батюшку. Помолимся, Кузьма, о родителях наших. Пошли, брат, в боковушку.

– Меня возьми, батька! – зазвенел цепями Филипп-бешеный.

Кузьма, потевший от близости сего домочадца, побледнел, Аввакум улыбнулся, перекрестил Филиппа, снял цепь с крюка, повел бешеного с собой.

– Филипп молодец! Иисову молитву выучил. По три тыщи в день читывает, с поклонами.

Помолились, да недолго. Пришли за Аввакумом, позвали на Печатный двор, к сказке. Расцеловался с братом, с племянником, поспешил на долгожданный зов.

Сказкой в те времена называлось царское государственное слово, назначение на службу.

Сказку Аввакуму говорил Симеон Полоцкий, новоиспеченный начальник царской Верхней типографии. С ним были Епифаний Славиницкий да Арсен Грек[46]. Епифаний, бывший киевлянин, жил в Чудовом монастыре, нес послушание справщика монастырской типографии. Арсен Грек, высоко залетавший при Никоне, извернулся и был теперь правой рукой Паисия Лигарида.

Все трое перед Аввакумом выказали приятие и приветливость. На столе лежала новоизданная, правленная Псалтирь.

Поглядел протопоп на государевых умников. Высоколобы, узколицы, тонкогубы. У Арсена Грека глаза черные, у Епифания и у Симеона – серые, и блестят, и живут, но холодно, что от черных, что от серых.

«Чужие люди!» – погоревал о России Аввакум.

В жар его кинуло: снова один перед тремя.

Симеон Полоцкий положил белую руку свою на Псалтирь. И ничего не говоря, поглядел на протопоба умнехонько.

– Экие вы люди! – потрянул головой Аввакум. Придвинул к себе книгу, открыл наугад, повел перстом сверху вниз, прочитал: – «Помощник во благовремениях в скорбех». – Поднял глаза на ученых мужей. – Читывал, господа, ваши усердные труды. Сие, господа, – порча Господнего слова. В старых добрых книгах сей псалом переведен просто да ясно: «помощник во благо время в печалях». «Во благовремении!» Языку ломанье, вихлянье мысли.

Повернул несколько страниц.

– «Да будет, яко трава на здех»... Откуда взялось «здех»? Кто умник? «Здех» – по-русски «здесь». О другом Давид говорил: «Да будет, яко трава на зданиях». На кровлях, значит!

Еще перевернул несколько страниц.

– «Держава Господь боящихся Его». Было лучше – «боящимся Его». Покалечен смысл.

Прочитал глазами. Ткнул пальцем в строку:

– Смотрите сами, что натворили. «Явится Бог богов!» Кошунство, господа! До того вы расстарались, что позабыли: Бог един. В старой, в православной Псалтири писано: «Явится Бог богом в Сионе».

Брезгливо оттолкнул от себя книгу.

Симеон, Арсен и Епифаний молчали.

Аввакум встал, пошел из палаты прочь. Ни слова вдогонку.

Обернулся:

– Кто вас прислал по наши души? Серой от вас пахнет.

Брякнул за собой дверь и тотчас покаялся перед невинным деревом:

– Прости меня, Господи!

Смолчали мудрецы. Не донесли, но и к делу не позвали.

Остался Аввакум без места.

Глава вторая

1

Енафа еще при звездах уехала в Лысково отправлять корабль в Астрахань. Товар – мурашкинские шубы и овчины. А втайне еще и пушнину. Потому втайне, чтоб разбойников, сидящих на горах Жигулевских, не всполошить. Десять молодцов под видом корабельщиков вооружила Енафа пистолетами и пищалями.

Анна Ильинична, вдова Бориса Ивановича Морозова, подарила мортирку[47]. Тоже в торговлю пустилась, дала Енафе на продажу свои старые, но великолепные шубы: две куньи, две песцовые да соболью.

Савва в дела жены не пожелал вникать. Ему на мельнице было хорошо.

Проводил Енафу и пошел на плотину, поглядеть, нет ли где какой прорухи.

Низко над землей висел Орион. Название созвездия Савва еще под Смоленском узнал, от немецкого майора. Зимние звезды. Летом их видят разве что сторожа да пастухи. Перед зарей являются на небе.

На плотине послушал, как переговариваются струйки воды, бьющие через щели в досках. Говор был привычный, Савва сел на любимый пенек и смотрел под мельничье колесо, на колыхание воды у плотины. Звезды на той большой воде качались, как в люльке, и среди чистого, пронзающего душу запаха реки пахло звездами, кремневой искоркой. С запахом звездных вод для Саввы сравнимой была только околица, коровья пыль.

«Господи! – думал Савва. – Какую быструю жизнь послал Ты мне, грешному!»

Вдруг вспомнил детский свой сон. Уже в поводирах ходил. Бог приснился. Некто невидимый поднес ему на ладонях два огромных глаза, каждый с небосвод, и строго сказал: «Смотри, радуйся, страшись!»

Слепец Харитон, от которого тогда простодушный малец не утаил чудесного сна, три раза с вывертом ущипнул за кожу на ребрышке – по сей день чешется – и так истолковал видение:

– Смотри, лень ты наша, смотри так, чтоб и мы видели. Смотри, неслух, радуйся Божьей красоте, чтоб и мы радовались. Страшись, дурень, когда углядишь, что всем нам пора шкуру спасать.

Плеснуло! Да не плеснуло, а взгорбило воду, пояс Ориона вскрутился, ушел в воронку под колесо.

– Сомище! – решил Савва и почувствовал: в прошлое утягивает. Внутренним зрением увидел соблазнительницу свою. Как вбирала она, мучимая любовью, всю плоть его: руками ласковыми, теплом тела, сокровенной влагой своей, светом и слезами глаз. А уж плакала – дождь так не вымочит, а уж смеялась – будто солнце в ливень.

Думал о той, о первой, но перед взором стояла Енафа.

Уловил на воде неясный, трепещущий свет. Зарницы, что ли? Ни единого облака, грома не слышно, а всполохи мечутся, небо дрожит, словно будет ему наказание.

«Может, с Никоном беда? – подумал вдруг Савва. – Жив ли святейший? Здоров ли?»

Увидел птиц. Огромные птицы, размахнув черные крылья, скачками передвигались со стороны Мурашкина к лесу. Савва замер. Потряс головой. Тихонько соскочил с пенька, наклонился над водою, умылся. Наваждение не исчезло.

2

– Воробьиная ночь! – говорили Иове и несли куда-то, а он уже привык к чудесам и дремал, не страшась и даже не думая о затеях лесных людей.

Плыли на лодке, но совсем недолго. Может быть, только переправились через Сундовик. Небо подмигивало, но уж так хотелось спать, что он снова засыпал. И в лодке, и в телеге. Везли на пахучих, на медовых травах. Сладок утренний сон под скучные скрипы колес, под ленивый бег лошадки, под шепоты и шелесты сена.

Пробудился Иова... на крыше. На соломенной крыше, в соломенном гнезде. Поглядел – лужайка, лес. Все деревья – дубы. Трава высокая, в траве, в росе девка купается.

– Проснулся! – закричал снизу визгливый старческой голос.

Голая девка тоже взвизгнула, кинулась в избу.

Заслоня глаза ладонью, смотрела на Иову от колодца... Баба-яга. Иова пополз-пополз и спрятался в гнездышке.

Старуха засмеялась, как залаяла, клюкой о журавель стукнула, крикнула, как каркнула:

– Заждались тебя травушки! Живей!

Иова лежал, помалкивая, прислушиваясь. Заскрипело сухое дерево, ближе, ближе... Над гнездом наклонилось синеглазое, пригожее девичье личико.

– Здравствуй, солнышко!

Иова подумал немножко и ответил:

– Ну, здравствуй!

– Слезай молоко пить! Да поспешай. Травки безымянные заждались. Слезай, не бойся.

– Чего мне бояться, – сказал Иова, – я, чай, царь.

– У нас ты ученик, – возразила девица. – Ты нам в ученье отдан. Быстро, говорю, слазь. Неслухов бабушка березовым прутом дерет.

Иова хмыкнул, подождал, пока девица отправится вниз, и сам спустился.

Изба без крыльца, вместо ступенек врытый в землю кряж. Сеней тоже не оказалось. В избе – печка, полати, стол, лавка. На столе две кринки молока, два куска хлеба, солонка.

– Это тебе, это мне, – сказала девица и осушила кринку единым духом.

Иова откушал по-ученому: хлеб солил, запивал молоком. Молоко заедал хлебом.

Старухи не было видно.

«И слава Богу!» – решил Иова.

– Пошли! – торопила девица. – Травки уж так аукают, что вся роса на них высохла.

Роса не больно-то и высохла, босые ноги обожгло холодом. Иова догадался идти по следам девицы.

С дерева снялась, полетела, увязавшись за ними, синяя сойка.

– Это моя подружка, – сказала девица. – Меня Василисой зовут... Прекрасной.

Синие глаза зазеленели, как ящери. Иова набычился.

– Тебе холодно, что ли? – спросила Василиса участливо. – А я так по утрам купаюсь в росе.

Иова багровел и молчал.

– Скоро потеплеет, – пообещала Василиса. Она размахнула руки, закружилась, складно выкрикивая слова: – На всякой на гари – Иваны да Марьи! У всякой дорожки – Акульки да Терешки! На лужайке – Параньки, Зинки – в низинке, на горке – Егорки, а там, где топище, – Агашка с Афоницей. Стелися, травушка, у норы лисьей – имечко тебе Василисье. Слушайте, слушайте мое слово: мужики-травы – будьте Иовы! Девки да бабы, сударушки-травушки, будьте ради свиданьца – Дарьицы.

Василиса закружилась еще быстрее, засвистела по-змеиному, подпрыгнула – Иове показалось, что пролетела, – и стала перед ним, тяжело, радостно дыша.

– Имечки раздали. Теперь травы к нам будут добры. Сорвем – не обидятся, не станут мстить.

Отерла кончиками платка вспотевшие глазницы, улыбнулась, наклонилась и дала ему в руку пахучий, невзрачный, мохнатенький цветок.

– Шалфей. Запомнил? Понюхай – никогда не забудешь. Листья язвы залечивают. Цветок прост, да силу имеет большую. Если его зарыть в навоз да прочитать над ним заклинаньице, знаешь чего из гнили-то выйдет? Червь мохнатый. Того червя бросай в огонь, и уж такой гром хряпнет – упадешь со страху. А если того червя положить в лампаду, весь пол в избе покроется змеями. Ступнуть будет некуда.

Василиса заглянула Иове в глаза.

– Запомнил? Ты запоминай! Бабушка спрашивать будет. За всякую позабудку – три розги.

Они пошли между дубами, не срывая могучих, грудастых боровиков с тугими темными шляпками.

– Грибы нам нынче не нужны, – сказала Василиса, будто знала, о чем подумал Иова. – Вот чего нам нужно.

Сорвала чернобыльник.

– От молний защищает, от падучей болезни. Дьявола прочь гонит! Если в лапти положишь, тридцать верст отшагай – не устанешь.

Побежала глазами по поляне. Улыбнулась. Сорвала растеньице, принесла Иове.

– Чемерица. Лунатикам ее дают, чтоб по крышам не ходили. Паршу у собак лечит. От водянки – первое средство. Моя бабушка натолчет ее и в еду себе подсыпает, старость гонит.

Они снова пошли между дубами.

– Мой тезка! – радостно крикнула Василиса, срывая василек. – Тоже не простой цветочек. Желтуху лечит, глисты гонит. Живот схватит – попей отварчику, и будешь здоров. На груди его носи – ни один колдун к тебе не привяжется. А коли знаешь заклинания – заклинаниям тебя бабушка научит, – так брось с заветным словом в костер; звезды по небу, как мыши, забегают. Дым василька страх на человека нагоняет. Лошади от того дыма бегут как бешеные.

Посмотрела на Иову, засмеялась.

– Довольно с тебя? Пойдем к соснам, по малину.

Сосны стояли среди дубравы, как остров.

Василиса поклонилась бору:

– Здравствуй! – И сказала Иове: – Ты с деревьями здоровайся. Они любят уважение. А теперь запоминай. Когда тебе понадобится узнать заветное число, приходи до восхода солнца к сосне. Как краешек солнышка покажется, так сразу ступай вокруг сосны, да широко захватывай. Круг надо сомкнуть, когда солнце полностью выйдет. В том кругу считай упавшие шишки. Сколько шишек, таково и есть заветное число.

Василиса сняла кусок коры, отделила верхнюю кожицу, показала Иове:

– Этим ранки лечат... А коли грудь заложит, пьют отвар из шишек. От болезни груди шишки сушат. Только запомни: не на солнышке, в тени. Потом несколько раз кипятят и пьют.

– Почему несколько?

– Целебней.

Подошла к Иове совсем близко, спросила, глядя в глаза:

– Целоваться тебя еще не учили?

Иова замотал головой.

– Так я тебя научу.

Подхватила, приподняла и звонко поцеловала в губы. Иова отбивался руками, ногами. Василиса, смеясь, отпустила его, и он тер руками свои губы, хоть и чувствовал, что на них совсем уж не противный запах малины, молока и еще чего-то неведомого, запретного.

3

Мрачнее тучи встретил Савва ненаглядную Енафу.

– Тебя три дня черти носят неведомо где, а в доме пропажа.

– Какая пропажа?

– Сына увели. Работники в один голос твердят – улетел! Я собрался к воеводе челом бить, а мне горшок серебра принесли.

Горшок стоял на столе. Енафа приподняла: тяжелехенек, фунта три-четыре.

– Кто принес?

– Не видел. Работники сказывают, человек этот велел передать: сын жив-здоров, срок придет – вернется, а станете искать – будет вам красный петух.

Енафа села на лавку.

– Наш сын, Савва, – царь лесных людей.

– Царь?! Сбесилась ты, что ли?

– Нет, Савва, не сбесилась... Ничего нельзя теперь поделаться... Помнишь Лесовуху?..

Теперь и Савва сел.

– Одного сына нажили, и тот... царь.

– Я тебе другого рожу.

– До сей поры что-то не больно расстаралась.

– Ты тоже не подолгу с нами жил. Затяжелела я, Саввушка... Будет у нас сынок.

– Я и девке буду рад, – сказал Савва, опустился на колени перед иконами. – Господи, чудно украшена земля Твоя морями, реками, горами, городами. Смилуйся, дай мне дом, в коем молю Тебя, и землю, в которую Ты привел меня, до скончания века моего. Обещаю, Господи, потружусь ради Тебя, сколько сил есть, только не посылай мне больше странствий, не гони меня по земле от жены, от семьи.

Поцеловал икону Спаса и, подойдя к Енафе, поклонился ей до земли. Сели они рядком, и сказала Енафа:

– Батюшку моего во сне видела. Поверишь ли, Савва, на облаках рожь сеял. Шагает машисто, зерно кидает от плеча, а я не удивляюсь, другое в ум никак не возьму: кто же батюшке облака в надел дал?

– Твой батюшка и на облаках хлебушек вырастит. Люблю Малаха, да и Рыженькую никогда не забываю.

– В конюхах теперь батюшка, совсем уж старенький, но верно ты говоришь, его хоть в цари поставь, не расстанется с полем. По зимней дороге пошлю-ка я ему волжской пшеницы на семена.

– Ты лучше снаряди воз мороженных осетров да воз стерлядок – на уху всей Рыженькой.

– Ах, Саввушка! Коли вернется корабль, не воз, а целый обоз послать не накладно будет. Савва погладил ладонью горшочек.

– Не страшно тебе, Енафа? За что нам, грешникам, такое богатство? От кого?

– Дают – бери. В учение они забрали сыночка. В учение.

– Неужто Иова и впрямь... сказать и то страшно.

– А ты, Савва, не говори. Лучше послушай, как во чреве моем сердечко стучит.

Савва опасливо, не повредить бы, приложил ухо, куда Енафа показала, и услышал.

– Енафа, и впрямь стучит! Как у воробушка!

4

Малах пришел поле поглядеть. Рожь, как царская риза, и все еще добирает ярости. Тепло! Дожди идут по ночам, морозящие, тихие. Земля парным молоком пахнет.

Малаха потянуло лечь, обернуться частицею поля. Он уже обхаживал Емелю и чаял уговорить, чтоб в оный день тайком откопал его гроб и перенес с кладбища на родное поле. На кладбище сырость, тень, скука...

Блаженно повалился на могучую лебеду, росшую за канавой.

Осенью горчило.

А рожь и впрямь хоть в церковь на стену. В их церкви его собственный зять написал снопы и поле золотом, одежды жнецов тоже золотом. Нынешняя рожь краше нарисованной. Вот и разбирала Малаха ревность. Не сам пахал свое поле по весне. Ведь главный конюх в барских конюшнях. Сорок человек работников. Попутал лукавый, дабы властью покрасоваться, гонял на свое поле конюхов! Сам сидел сложа руки.

– Ты уж прости меня. – Малах положил ладонь наземь. – За всю жизнь мою единый раз побарствовал. Ты стоишь себе, красно, а мне лихо: без моих рук обошлось. Не наказывай, вели оброк с меня взять!

Заснул вдруг. Приснилось: идет по облаку, борода расчесана, рубаха новая, лапоточки и те скрипят. Идет он по облакам и сеет. Золотом. Ярым золотом.

Проснулся, сел. Положил ладони перед собой... Диво! Сон уж соскочил, а ладонь все еще тяжесть золотых зерен чувствует.

– С колоса – горстка, со снопа – мера, у нашего Тита богатое жито.

Послышался конский топ. Лупцую коня пятками, мчался конюх Тришка.

– Дедка Малах, за тобой боярыня человека прислала. Велят шестерку коней в Москву отогнать.

– Что же ты за мной на телеге не приехал?

– А ты садись, скачи, я за тобой вприпрыжку.

– Все у тебя скоро, да не впрок! – сказал Малах, собираясь осерчать, а вместо того улынулся: уж больно хлеб хорош.

От такого золота русское царство в позолоте.

5

В Москве, сдавши лошадей конюхам Анны Ильиничны, Малах поехал к дочери, к Маняше. С гостинцем явился, привез десятиведерный бочонок соленых рыжиков.

Маняшин муж, иконописец Оружейной палаты, имел собственный дом на Варварке. Ребятишек у Маняши было уже четверо. Сыновья Малаха, Егор и Федот, поставили на дворе избушку, в ней и жили, но ели из общего котла.

Маняша батюшке уж так была рада, что и сама стала как девочка. От батюшки Рыженькой пахло, привольем, соломою медовой, лошадьми, дегтем... Хотелось, как в детстве, прижукнуться к теплому батюшкиному боку и, выпросив, слушать сказку.

– Расскажи дитятам сказочку, – попросила Маняша, – побалууй внучат.

– Да они у тебя малы.

– Двое и впрямь малы, а двое смышлены.

– Про что рассказать-то?

– Про молитву купца.

– Что за молитва?

– Как купец у одного мужика по дороге на ярмарку останавливался да деньги считал.

– И что же?

– Соблазнился мужик, хотел купца зарезать, а купец выпросил минутку: Богу помолиться.

– А мужик?

– Да ничего. Позволил. А тут, помнишь, в окно застучали: собирайся, мол, товарищ.

– Кто стучал-то? – удивился Малах.

– Да как же кто? Убийца струхнул, купец, не будь дурак, деньжонки подхватил и на двор.

А там никого! Господь спас.

– Эко! – изумился Малах.

– Батюшка, ты же сам рассказывал...

– Эх, Маняша! Моя сказка вся, дальше сказывать нельзя. Сама не ленись красным словом детишек радовать.

Егор и Федот водили отца в мастерскую, показывали, чему научились. Федот трудился в ту пору над братиной. Вырезал на чаше дивных птиц, женоликих, венчаных царскими коронами. У черных крылья были сложены, а у позлащенных раскрыты, изумляли узорчатыми перьями.

Малах принял в руки чашу, как цыпленка, только что вылупившегося из яйца.

– Федотушка! Да они же райские песни поют, птицы-то! – поглядел на сына, широко раскрывая глаза. – На матушку ты у меня похож! Это она тебе птиц послала. Дивный ты мастер, Федотушка.

– Боярин шибко хвалит! – сказал о брате Егор.

– Какой боярин-то?

– Начальник наш, Богдан Матвеевич Хитрово.

– Он не боярин, – осадил брата Федот, – окольный.

– Все равно великий человек, – примиряюще сказал Малах и глянул на другого сына. –

Теперь ты являй.

– Великомученика Федора Стратилата[48] пишу, – потупился приличия ради Егор.

Икона была большая. Святой держал тоненькое копье, в огромных ножнах меч. На плечах красный плащ. Золотые доспехи перепоясаны золотым поясом. За спиной щит, как радуга.

– Как же ты научился-то?! – радостно пожимал плечами Малах. – До того пригоже, до того молитвенно – крестись и плачь.

– Заказ великого государя, – гордясь братом, сказал Федот. – Икона для Федора Алексеевича.

– Большие вы у меня люди! – сказал Малах. – Слушать вас и то страшно. Речь-то ваша о боярах, о царе с царевичами. Смотрите, старайтесь... С высокой горы падать тоже высоко.

– А хочешь, батюшка, с самим царем помолиться? – спросил Егор.

– Как так?

– Просто.

И повели братья отца своего в Успенский собор. Стоять пришлось чуть ли не у самого входа, но великого государя Малах видел. Со спины. Ухо видел, бороду, щеку... На том счастье и кончилось. Трое дюжих молодцов выперли старика из храма, а на паперти надавали по шее.

– Караул! – тихохонько, без голоса, прокричал Малах.

– Не ори, дурак, – сказали ему. – В царскую церковь приперся, а невежа невежей. Государь крестится по-ученому, а ты, дурак, персты складываешь, как мятежник.

Высочили из церкви Егор с Федотом, подхватили отца под руки, увели за кремлевскую белую стену, подальше от глазастых царских людей.

Так-то с царями молиться.

6

Дьякон Успенского собора Федор пришел к Аввакуму домой, рассказал, как за двоеперстие человека поколотили не токмо у всей Москвы на виду, но перед самой Богородицей.

Бешеный Филипп взвился на цепи, хватил Аввакума за ляжку зубами.

– Не постоишь за веру нынче, завтра простишься с Царством Небесным. Одного я бы нынче сам загрыз, да завтра на всех зубов моих не хватит.

– Нужно собор собирать, – решил Аввакум. – Только где?

– Чтоб ни одна собака не унюхала, – предложил Федор, – сойтись надобно в Чудовом. Архимандрита Павла не сегодня завтра в Крутицкие митрополиты возведут, ему не до монастыря.

– Так поторопимся! – сказал Аввакум, крестясь.

Коли Аввакум торопится, так все спешат.

Малаху боярыня Анна Ильинична приказала скакать к дому Федосьи Прокопьевны, делать то, что велено будет.

Малах был за кучера, пригнал к дому боярыни Морозовой крытый возок.

– Госпожа молится, – доложил Малаху дворовый человек боярыни. – Ступай и ты в церковь.

Глядя на храмовую икону, Малах размахнулся, чтоб крестом себя осенить, да вспомнил урок. Поглядел на руку. Приложил к двум перстам третий и только вознес длань для печати Христовой – шмякнули по руке.

– Кому молишься? Богу или Никону? – Перед Малахом стоял сердитый поп. – Давно ли научился шепотью в лоб себе тыкать?

– Третьего дня.

– Третьего дня? – изумился поп.

– Меня третьего дня за старое моление побили... В Успенском соборе. Ты же бьешь за новое моление...

Поп призадумался.

– Прости меня, грешного. Я человек в Москве нынче новый, из Сибири приехал... Ишь, время-то какое! Бьют за то, что Богу молимся... Как зовут тебя, старче?

– Малахом.

– А меня Иов. Помолимся друг о друге.

Когда утренья закончилась, оказалось, что Малаху надлежало отвезти к Чудову монастырю этого самого попа Иова.

Путь недалекий. Прощаясь, Малах спросил-таки попа:

– Как же персты-то складывать?

– А как они у тебя складываются?

– Один к другому, по-старому. Матушка в детстве этак научила.

– Вот и не валяй дурака! – сказал Иов, благословляя.

7

В просторной келье, где монахи хранили мед, собрались люди не больно знатные, но сильно озабоченные: архимандрит Покровского монастыря, что за рекой Яузой, старец Симеон Потемкин, протопоп Даниил, игумен тихвинского Беседного монастыря Досифей, дьякон Благовещенского собора Федор, бывший священник Афанасий, а ныне инок Авраамий, Исайя – человек боярина Петра Михайловича Салтыкова, священники Феодосий да Исидор от церкви Косьмы и Дамиана, странник инок Корнилий и вернувшийся из сибирской ссылки поп Иов.

Симеон Потемкин воздал хвалу Господу и открыл собор вопросом:

– Ответьте, братия! Перекрещивать ли отшатнувшихся от никонианства и переходящих в старую, в истинную веру? Свято ли крещение, полученное от никониан?

– Католиков и тех не перекрещивают, – сказал Федор.

– Вот и плодим бесов! – подал голос инок Корнилий. – Всякая неправда – сатана. Избавление же от сатаны – истина. Окуну человека в ложь, в черную воду, будет ли он белым?

– Чего попусту прю разводите?! – сказал Аввакум, кладя руку на плечо Федора, подпирая слово согласиём знатного книжника. – Нужно всем народом идти к царю. Поклониться и спросить: «Царь-государь, неужто складная брехня греков да жидов тебе дороже Божией правды? Русские, может, и впрямь дурак на дураке, да они твои, а грек – он как блоха, вопьется в кровь да скок-скок под султана. И не сыщешь!»

Поднялся Досифей. Лицом серый – постник, в глазах огонь, голос же ровный, тихий:

– Нужно, сложась мыслью, определить, кто есть Никон. Антихрист или только предтеча антихриста?

Примолкли. Одно дело – лаять в сердцах, и совсем другое – возложить печать на человека.

Симеон Потемкин, совсем уже белый, глазами медленный, на слово скупой, сказал просто:

– Сатана был скован тысячу лет по Воскресению Христа. Тысяча лет минула – отпал Запад. Явилась латинская ересь. Через шестьсот лет Западная Русь приняла унию. Через шестьдесят – отпала Москва. Еще шесть лет минет, и быть последнему отступлению.

– Оно на дворе – последнее отступление! – воскликнул дьякон Федор. – Человека в Успенском, в великом соборе, побили за то, что осенил себя крестом, как осеняли святые митрополиты Московские Петр, Алексей, Иона, Филипп, Гермоген! Как крестился отец наш преподобный Сергей Радонежский. Уж скоро, скоро явится отступник отступников. Сей царь водворится в Иерусалиме, и будет он из жидовского колена Данова[49]. Нечего Никона антихристом ругать.

– Никон есть сосуд антихриста! – высказался инок Авраамий. – Сей смутитель назвал речку Истру Иорданом, а чтоб Россия вконец пропала, строит, кощунствуя, свой Иерусалим.

– Царским попустительством, – добавил Досифей.

– Антихрист давно уже явился в мир! – вскрикнул инок Корнилий, да так резко, что все вздрогнули. – Было пророчество Иерусалимского патриарха Феофана: когда на Руси сядет царь с первой литеры, сиречь аза, притом переменяет все чины и все уставы церковные, – быть великому гонению на Православную Церковь. Царь Алексей – антихрист.

– Батюшки светы! – перепугался Исаяя, дворовый человек Салтыкова.

– Алексей – восьмой царь, считая от великого князя Василия[50]. А от Василия потому надо считать, что в те поры была ересь жидовствующих, все книги были исправлены! – сказал со значением протопоп Даниил.

– Что же, что восьмой? – не понял Федор.

– А то, что восьмой!

– Конец света не по царям надо считать, – возразил Авраамий. – Не со дня рождения Христа, а со дня сошествия Его в ад.

Аввакум замахал яростно руками.

– Да плюньте вы на сии вопросы! Башку сломишь, а какой прок? Братия моя возлюбленная! Народ нужно спасать! Родимых русаков наших. От Никона – так от Никона, от царя – так и от царя.

– От царя! – крикнул инок Корнилий. – Здешнему чудовскому старцу видение было. А видел он, как пестрый змей, дышащий лютым ядом, обвивал Грановитую палату.

– Сие видение о Никоне, – возразил Федор. – Было оно старцу Симеону, когда Никон воротился с Соловков. Про Никона и раньше было ведомо. Старец Елеазар в Анзерском скиту не раз видел на шее своего келейника черного змея.

– Мне тоже было видение, – сказал Корнилий. – Спорили темнообразный и благообразный. Темнообразный поднял над головою четвероконечный крест и вбил крестом благообразного в землю. И установил свой крест на той земле. По какому признаку, не ведаю, но я узнал землю – то была Русская земля. Темнообразный одолел.

– Когда Никон баловал над нами в патриархах – помалкивали о видении Елеазара Анзерского, – вздыхая, перекрестился дьякон Федор. – А ведь государь получил от Елеазара великое духовное благословение. Благословение принял, а слово о Никоне мимо его царских ушей пролетело, как ветер. Страшное слово: «О, какова смутителя и мятежника Россия в себе питает! Сей убо смутит тоя пределы и многих трясений и бед наполнит».

– Так кто же есть Никон? – спросил Симеон, озирая глазами братию. – Сосуд антихриста, предтеча или сам антихрист? Ежели любое из сих определений истинно, то не перекрещивать приходящих в старую веру нельзя.

– Но до того, как впасть в никонианство, все были крещены истинно? – возразил инок Авраамий. – Младенцы крещены по-новому.

– Отпав от Христа, как можно вернуться к Христу? Трудный вопрос, да нам его решать, – сказал Досифей.

– Плюньте! – плюнул Аввакум. – Плюньте на все трудные вопросы. Чего гадать, когда миру конец? И змей будет, и конец света будет... Будет, как в книге у Бога написано. А нам жить надо, нам Бога молить надо. Вот и дайте наставление православному народу, как души невинные от погибели спасти. Мы уцепились друг за дружку, бредем, не ведая пути... А яма-то уж выкопана про нас, смердит, и уж коли сверзимся, так всем народом. Вы поглядите, как изографы пишут Спасов образ? Лицо одутловатое, уста червонные, волосы кудрявые, руки и мышцы жиром обляпаны. У ног бедра тоже толсты непомерно, персты надутые. Не Спас, а немец брюхатый. Саблю на боку написать – чистый немец! А какова Богородица в Благовещенье у новых сих мастеров? Брюхо на коленях висит, чревата! Во мгновение ока Христос во чреве явился? Брехня и есть брехня! Христос в зачатии совершенный есть, но плоть Его пресвятая по обычаю девятимесячно исполнялась. Не иконы, срам. А ведь этак любимейший царев изограф пишет, Симеон Ушаков. Я поначалу тоже хвалил его, да поглядел Спаса Еммануила – ужаснулся. По плотскому умыслу писано.

Аввакум махнул рукой и замолчал.

И все молчали. Белым днем у всего Московского царства, у всего народа веру украли. Приехали проворные людишки, покрутились возле царя, напялили Никону белый клубок с херувимами, молились, все красивые, все строгие, а веры-то и не стало...

И Никона нет, спросить не с кого.

– Скоро за имя Христово будут жечь, на плахе головы рубить, – сказал Корнилий. – Миленькие вы мои, не совладать нам с царем. Царь веру губит. Одно спасение: уйти всем народом из царевых городов, из дворянских деревень – в леса, в горы, за Камень, хоть в Дауры...

Симеон Потемкин взял в руки крест, поцеловал.

– Кто осмелится оставить дом и землю? А если придет такой час – побегут. Нам, пастырям, надо быть при стаде... Грешен. Сижу с вами, а за дверьми сей келейки – чую – черный стоит. Черный, как ночь. Слушает, что говорим, и на каждое наше слово приготовляет свою ложь.

Много и долго спорили озабоченные люди, да не было в их словах уверенности, ведущей к победе, – а были плач, горькое недоумение.

И тогда сказал Аввакум:

– Если языками человеческими глаголю и ангельскими, любви же не имею, то я есмь медь звенящая, кимвал звучащий – ничто я еемь! Так Павел заповедал. Не родить нам в словопрении правды, правда наша – в деланье. Пойдемте к чадам любезным, будем возглашать о Господе, покуда нас не услышат даже глухорожденные. Будем глаголить истину воплем – коли отрежут нам языки; телом – коли заткнут рот кляпом; светом пламени – коли бросят в огонь.

Разошлись по одному. И встретил Аввакум у дома своего царя, ехавшего верхом. Государь уже издали приветственно закивал протопопу, потянулся к шапке, да, снимая, уронил ее наземь. Царевы слуги кинулись поднимать, Алексей же Михайлович, смеясь, подъехал к Аввакуму и сказал:

– Перед тобою, батюшка, шапка сама с головы спрыгивает. Благослови, помолись обо мне крепко, ибо грешен! О царевиче, свете, помолись, об Алексее.

Аввакум трижды поклонился.

– Всякий день молюсь о тебе, великий государь. Будет на тебе благодать Божья, и на всех нас прольется дождь щедрот твоих царских.

– Спасибо тебе, батька. Ты мне люб, да, говорят, уж больно ты горяч в словесных схватках. Не позволяй обойти тебя злохитрым. Правду сказать, я и сам горяч. Словечко в сердцах сорвется, а попробуй верни его... Не догонишь, стрелой не сразишь.

Слуга подбежал с мурmolкой. Государь надел шапку, улыбнулся, поехал.

От царского добрословия сердце бьется скорее. Прилетел Аввакум домой, чтоб с Марковной радостью поделиться, а в горнице гостя, монахиня кремлевского Вознесенского девичьего монастыря – матушка Елена Хрущова.

Поклонилась низехонько, благословилась.

– Батюшка Аввакум, я монастырская уставщица. Надоумь, что делать. Новые служебники я в чулан кинула, да теперь опять принесли, священник служит по-новому.

– Просто делай, матушка. – Аввакум подошел к иконам, поцеловал Спаса в краешек ризы. – Гони взашей всякого, кто Бога не боится. Христос гнал из храма торгующих, а эти – новообрядцы – душой торгуют. Гони, не сомневайся.

Вечером того же дня домочадицы Фетинья и монахиня Агафья рассказывали Аввакуму:

– Великий шум был нынче в девичьем монастыре. Инокиня Елена собрала старых монахинь, пришли они в церкву, услышали, что по новым книгам служат, кинулись на монашек, потянули да и выкинули вон. И книги новые тоже выбросили... От царя стража прибежала, утихомиривали матушек.

– Ох, Аввакум! Ох! Ох! – вырвались у Марковны нечаянные вздохи.

8

Анна Петровна Милославская, урожденная княгиня Пожарская, позвала Аввакума к себе домой, исповедалась, а потом слушала наставления. И были там сторож Благовещенской кремлевской церкви Андрей Самойлов, жена попа Дмитрия матушка Мартемьяна Федоровна, Ксения Ивановна – казначея боярыни Федосьи Прокопьевны Морозовой – и другие духовные дети протопопа.

Аввакум говорил в тот день устало и кротко.

– Бог за отступничество послал Потоп. Все померло в водах, один праведный Ной с полнехоньким своим ковчегом остался... Россия-матушка сама себя топит в грехе. Первым в ту черную реку сиганул Никон, схватя за руку миленького Алексея Михальча. А вот есть ли Ной среди нас, грешных, один Христос ведает.

– Ты поругай нас, батюшка, поругай! Покляни ты нас, зверей, страшными клятвами! – У Андрея-сторожа слезы с бороды капали.

– Воистину, батюшка, покори нас, – поклонилась Аввакуму Анна Петровна. – Постыди! Чай, пробудится совесть наша, сном прелестным объята! Мы, бабы, хоть княгини, хоть крестьянки, – все от плоти Евы-грешницы.

– О Ева! Хороший зверь была, красный, покамест не своровала. И ноги у нее были, и крылья было. Летала, как ангел. Увы! От ее горестного небрежения к заповедям Господним всем вам, голубушкам, передалась проклятая болезнь. Упиваетесь лестью, сладкими брашнами друга друга потчуете, зелием пьяным, а дьявол глядит на вас да смеется. Лукавый хозяин напоил, накормил, да так, что в раю не стало никому места, и на земле уж тоже нет житья. В ад норовим.

– В ад, батюшка! – согласился сторож Андрей.

– Увы, увy! Превосходнее Адама грешим. А согрешив, упираемся крикнуть: прости меня, Господи. Помолиться бы, да куда там! Стыдно молить Бога, не велит совесть лукавая.

Поплакали, прося у Господа покоя Православной Церкви, благодетельными покинули дом царицыной приезжей боярыни, богобоязненной Анны Петровны. Уносили в душе слово Аввакума. Для одних слово – звук, для других – наставление. Сторожа Благовещенского собора Андрея Самойлова прямодушные протопоповы сказания нажгли, настегали, будто крапивой.

Пришел он в церковь свою, в нарядную, как Божий рай, в благодатную Благовещенскую! В ту пору служил Казанский митрополит Лаврентий, сослужили ему архиепископ Рязанский Иларион да чудовский архимандрит Павел. Царь снова скликал в Москву архиереев для разрешения вопроса о патриархе. Молили Бога судьи Никоновы по лжезаповедям Никоновым. Плакала простая душа сторожа Андрея, окунаясь в неправду.

В царской церкви и народ к царю близкий. Все шепотью персты складывают, как приказано. Вон боярыня Морозова – кому в Москве неведомо: Аввакум в ее доме служит по-старому, а вот поди ж ты! На людях – как люди, пальчики в щепоточку...

Дурачат народ! Царь сбесился, и бояре – упаси Боже объявить православным о своем бесовстве – друг перед дружкой скачут, сатане угождают.

Что спросить с позлащенной сей братии? Из царева корыта кушают. Ну а длинногивые-то?! Митрополиты, архиепископы?! Или золотые да жемчужные ризы дороже сермяги Господней? Знать, дороже!

– Высоко ты, Господи! – простонал сторож Андрей. – Все тут против Тебя в сговоре!

Да и кинулся к алтарю, закричал на митрополита:

– Ох, Лаврентий, будет тебе от Иисуса Христа правый суд! За твое отступничество твои грехи задавят тебя, лжеустого, как медведь. Так и хрястнут твои косточки, раздробятся, проткнут тебя и язык твой поганый проткнут!

Дьякон, защищая владыку, правой рукой осенил Андрея крестом, а левой – кулачищем ткнул, метя в лицо, да промахнулся. Схватил его за рясу Андрей, мотал из стороны в сторону.

– Нет силы в твоём кресте, щепотник! Сила в моем! Крещу я вас, бесы!

И осенил двуперстным, славным от века знамением митрополита, архиепископа, архимандрита.

– И ты, дурак заблудший, свое получи! – перекрестил дьякона и пошел из церкви, кинувши от себя церковные ключи.

Отшатнулись от того звяка сановные прихожане, глядели на ключи со страхом, уж таким укором веяло от тех ключей – не то что слову прошелестеть, дыхания не было слышно.

Великое смущение случилось в Благовещенской церкви. Царица Мария Ильинична, стоявшая на службе тайно, на хорах, за занавесью, обмерла от боли во чреве, где созревало очередное царское дитя.

В Тереме Мария Ильинична так горько плакала, что за царем послали.

Алексей Михайлович прошел к царице, головку ее милую на плечо к себе клал. Косы гладил, бровки ее трогал.

Сторожа Андрея Самойлова арестовать не посмели. Словесно увещевали.

9

Нежданно-негаданно пришел к Аввакуму домой окольный Родион Матвеевич Стрешнев. Дрогнуло у протопопа сердце: Стрешнев – судья Сибирского приказа – сама царева правда, за опальным Никоном Стрешнев присматривает.

Филипп рванулся на цепи, кляцнул зубами, и Аввакум, заслоня бешеного спиной, торопливо поклонился гостю и сказал, что в голову пришло:

– «Держу тебя за правую руку твою».

– Вон как ты живешь! – уважительно сказал Стрешнев, косясь на Филиппа. – Чего это ты помянул о моей деснице? Я ведь тоже могу загадками говорить. «И шло за Ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нем».

– Я тебе из Исаяи, ты мне из Луки. Исус так ответил: «Плачьте о себе и о детях ваших».

– Не глупо, батюшка, о своих детях помнить. Но уж коли говорить словами Писания, помяну апостола Петра: «Будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа».

Стрешнев сел в красном углу. Слова он говорил, будто камни ворочал, но улыбнулся и поглядел на протопопу не сурово.

– Я начальству кланяюсь. – Аввакум поклонился Стрешневу до земли. – Но, Господи, научи, как соблюсти чистоту? Исполняя одно Твое повеление, попираешь другое. В «Книге премудрости» заповедано: «Из лицепрятия не греши, не стыдись точного исполнения закона Всевышнего и завета».

Филипп бешено захрипел из своего угла:

– «Во имя Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь».

– Ишь, какие у тебя домочадцы, – поежился плечами Стрешнев. – Ладно, давай говорить попросту. Царь тебя, протопоп, любит, все мы любим тебя, но умерь же ты свой пыл, не бунтуй людей! Два перста тебе дороги, ну и молись, как совесть велит, только не ругай великого государя в церквах, на торжищах, не трепи высокого имени, не полоскай попусту.

– Не то в Сибирь?

– У великого государя много дальних мест.

– На костер, что ли?

Умные серые глаза окольного укорили печалью и болью.

– Я, батюшка, пришел к тебе с гостинцем. Великий государь посылает тебе десять рублей, и царица жалует десять рублей... И от меня тоже прими десять рублей... Государь ведает: церковная власть к тебе не больно справедлива, никак не разбежится дать место в храме... Обещаю тебе, батюшка: с Семенова дня будешь приставлен к исправлению книг на Печатном дворе.

Окольный положил на стол три мешочка с деньгами, встал, перекрестился на иконы.

– Пообедай с нами, будь милостив! – пригласил Аввакум.

– Благодарствую, но... – Стрешнев развел руками.

– Родион Матвеевич, миленький!

– Ждут меня, батюшка, – поднял глаза кверху. – Что сказать-то в Тереме о тебе?

Аввакум склонил голову.

– Скажи: протопоп Богу не враг. Ведаю, Родион Матвеевич, ведаю – царь от Всевышнего учинен. Как мне не радоваться, ежели он, свет наш, ко мне, ничтожному, добренек... А что стоит между нами, про то Исуса Христа молю, Богородицу Заступницу, авось помаленьку исправится.

Стрешнев даже головою тряхнул.

– Крепок ты, батька! А говорить-то нужно не Исус, то невежество, – Исус.

– Говорим, как язык привык, как святые отцы говаривали. Да и где нам до вашего московского вежества? Мы люди лесные, нижегородские.

Стрешнев вышел, но дверь за собой не затворил, сказал в дверях:

– Мне ли просить тебя быть умным? Не дури, батюшка. Не сказал бы сего, да сердцем за тебя болею.

– Отче наш, Иже еси на небесех! – завопил Филипп и ни в едином слове не сплеховал, сказал, как Христос учил.

Дня не минуло, прислал десять рублей Лукьян Кириллович – царский духовник.

Еще через день казначей Федора Михайловича Ртищева уловил протопopa в Казанской церкви, сунул в шапку шестьдесят рублей. То были не деньги – деньжищи громадные.

Многие поспешили к протопopу с подношениями: кто мешки с хлебом везет, кто побалует красной рыбой, кто шубу подарит, кто икону... Всем стал дорог батюшка Аввакум, всем вдруг угодил.

Не отстал от других и Симеон Полоцкий. Явился душистый, новая ряса аж хрустит, улыбки все зубастые, в глазах любовь пылает.

– Слышал, батюшка, берут тебя на Печатный двор. Грешен, завидую. Говорят, Арсений Суханов привез с Афона древнейшие свитки. Почитал бы с великой охотой сочинения, приобретенные в Иверском Афонском монастыре, в Хиландарском, Ватопедском, Ксиропотамском... Какая древность! Какая святость!

– Ох, милый! Коли мне те свитки дадут, так я тебе их покажу. Приходи, будь милостив, вместе почитаем.

У Симеона тоже был подарок протопopу, принес кипарисовую доску.

– В Оружейной палате презнатные изографы. Закажи себе икону на сей доске по своему желанию.

– Спасибо, – поклонился Аввакум монаху, – велю написать Симеона Столпника. Молитва Симеонова длиною в сорок семь лет, сорок семь лет стоял на столпе.

Анастасия Марковна подала гостю пирог с вишней да яблоки в меду.

Симеон отведал с опаскою, но понравилось, за обе щеки ел.

– Бывал я на богатых пирах, но так вкусно нигде еще не было, как в доме твоём, – польстил гость хозяйке. И про хозяина не забыл: – Ты мудрый человек, Аввакум. Умный – богатство народа, умный должен себя беречь, ибо от Господа дар. Я с моими учениками написал вирши в честь государя, государыни, в честь царевичей и царевен. Если ты можешь слагать стихи и если ты тоже восславишь великого государя, я прикажу читать твои вирши наравне с моими.

– Помилуй, батюшка! – изумился Аввакум. – Я на слово прост. Уволь! Уволь меня, грешного. Да ведь и Бога боюсь! Баловать словами уж не скоморошья ли затея? Скоморохов я, бывало, лупил за их вихлянье, за болтовню.

– Писать вирши – занятие благородное, – возразил Симеон. – В речах твоих, батюшка, я нашел столько огня, что убежден: отменные получились бы вирши! И почему ты поминаешь скоморохов? Подумай лучше о Романе Сладкопевце[51]. Он складывал вирши для восславления Господа.

– Пустое глаголешь, Симеон! – сказал сурово Аввакум. – Роман Сладкопевец не последний среди отцов вселенской церкви. Кто – он и кто – мы с тобою? Не тщись равнять себя со столпами, Симеон. Полоцк – не Сирия, а твое служение царю и царевичу – не столпничество. Да и времена нам достались – не вирши слагать, а плачи по погибшей душе.

Расставаясь, Симеон покручинился:

– Горестно мне, недоверчивы русские люди. Отворить бы твое сердце, протопop, золотым ключом, сослужил бы ты государю великие службы. Восслав славное, и сам будешь в славе. О превосходный дарованиями, соединишь с тобою помышлениями, мы могли бы творить благо и

любовь для всей России. Говорю тебе, восславь славное, ибо земля твоя создана для любви и твой царь любви сберегатель и делатель. Славь славное и будь во славе!

– Солнце на небе уж едва держится от фимиамов и славословий. Кадить земному владыке – угодать сам знаешь кому.

– Грустно мне, – сказал Симеон.

– А мне, думаешь, не грустно?

Поглядели они друг на друга, поклонились друг другу.

10

В Тереме для царского семейства Симеон Полоцкий с учениками, привезенными из Белоруссии, устраивал «зрелище красногласное».

Алексей Михайлович, Мария Ильинична, Алексей Алексеевич сидели на деревянных, высоких тронных креслах, остальные дети с мамками разместились по лавкам. Лавки были золоченые, крытые изумрудным бархатом. Да и палата была, как изумруд, травами расписана.

Старшей царевне Евдокии шел пятнадцатый год, была она высока ростом, лицом в батюшку, не обидел Господь красотой. Марфе только что исполнилось двенадцать, а у нее уже грудка, как у серой лебедушки, – красоте быть, да вся впереди. Алексею шел одиннадцатый. Серьезный, строгий отрок ждал зрелища с нетерпением, ноготок на мизинце покусывал. У царевны Софьи день рождения впереди, 27 сентября ей исполнялось семь лет, она чувствовала себя взрослой. Екатерина моложе сестрицы на год и на месяц, но сидела, как старушечка, кулачки у груди, глаза добрые, радостные. Одна Мария шалила, ей было четыре года, а трехлетний Федор хоть и сидел на руках у мамки, у княгини Прасковьи Куракиной, но понимал: будет нечто чудесное, сверкал умными глазенками. И только Феодосия спала. Ей в мае исполнилось два года.

Были на зрелище царевны-сестры, приезжие боярыни, мамки, дядьки, комнатные люди.

Двери отворились, вошел высокий, смуглый, чернородый Симеон, а с ним двенадцать отроков. Все одеты в вишневые кафтаны, в белых чулках, в блестящих ботинках с золотыми пряжками. Царевны задвигались, зашущукались.

Отроки и Симеон разом поклонились, а Симеон еще успел улыбнуться своему царственному ученику. Алексей, польщенный, просиял в ответ.

– Благослови, о пресветлейший, самодержавнейший великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович всея Великая и Малыя и Белыя России самодержец! – Голос прозвучал бархатно, со всем великолепием русской певучести, с чудесным, ласковым для уха «л», с просторною величавостью, с ударениями на главных словах и особливо, тут уж Симеон как в литавры ударял, на слове «самодержец».

– Благословляю! – сказал Алексей Михайлович с удовольствием.

Выступил на шаг первый отрок, светлокудрый, черноглазый, с личиком тонким, и взлетающим выше и выше серебряным фальцетом произнес начальную, заглавную хвалу:

Радости сердце мое исполняяся,

Яко предстати тебе приключися,

Богом нам данный православный царю,

России всея верный господарю!

Яко бо солнце весь мир просвещает,

Сиче во сердцах радость проникает

От лица царска. Тем же припадаем

К стопам ти, яже лобзати желаем.

Отрок смолк, поклонился в пояс, отступил. И тотчас вышел второй, чернокудрый, сине-глазый. Прочитал стихи, славя великого государя за избавление Руси от еретиков, от врагов, хваля за распространение православной веры среди язычников.

Третий отрок сравнил царя с солнцем и прорек со строгостью: все народы должны жить под русским царем.

Четвертый замахнулся на большее:

Подай ти Господь миром обладати,

А в век будущий в небе царствовать!

Шестой опять поминал светило:

Без тебя тьма есть, як в мире без солнца,

Свети ж нам всегда и будь оборонца

От всех противник...

Седьмой отрок сравнил Алексея Михайловича с Моисеем, принесшим евреям свет с Божьей горы.

Восьмой прославил царицу, сравнив Марию Ильиничну с луной: «Ее лучами Россия премного светла».

Девятый отрок славил царевича Алексея, но начинал-таки с родителей:

Ты – Солнце, Луна – Мария-царица,

Алексей светла царевич – денница.

Его же зори пресветло блистают,

Его бо щастем врази упадают.

Десятый славил царевен:

Зело Россия в светила богата,

Як звездами небо, сиче в ней палата

Царска сияй, царевен лепотами

Звездам подобных всими добротами.

Спросить бы солнца аще виде ровну

Яко Ирину в Руси Михайловну,

Ей подражает благородна Анна,
В единых стопах с нею Татиана.
Царя Михаила тщи Федоровича
Царств многих и князств истинна дедича,
Что Евдокия с Марфою сестрою
Есть в русском свете: аще не звездою
Равне София имать воссияти,
Екатерина також в благодати...

Одиннадцатый отрок воздал хвалу боярам, двенадцатый Россию сравнил с телом, а царя – с головой и пророчествовал: «Россия прославится в мире умом и храбством».

Последние две строки гимна Симеон и его отроки прочли хором:
Бог есть с тобою, с ним буди царь света,

Царствуй над людьми, им же многа лета!

Алексей Михайлович резво поднялся, поклонился, отирал платочком слезы на лице. Отрокам поднесли по печатному прянику, повели и показали царские покои, угостили на прощание квасом с имбирем, дали орехов, сушеной дыни, изюму, сушеных груш. Симеон же удостоился кубка с романеей.

11

Снилось Аввакуму: идет он белым полем, воздух от мороза в иглах. Далекий ли путь, близок ли – неведомо. Тьма катит навстречу. Не туман, не дым – тьма клубами ворочается... Назад бы побежать, пока не поглотило черным, да ноги вперед несут.

Волк завыл.

Задрожал Аввакум и проснулся. Воеет! Филипп взбесился.

Встал протопоп, окунул палец в святое масло, подошел к Филиппу. Бешеный выл, запрокинув голову, закатив глаза. Аввакум нарисовал крест на его лбу, запечатал крестом рот.

Филипп икнул, повалился боком на рогожку, заснул как агнец.

Домочадцы заворочались, укладываясь досыпать. Палец был в масле. Аввакум нагнулся к Федору, этот у порога ложился, помазал. Федор чмокал губами, как малое дитя.

Протопоп отметал триста поклонов перед иконами и очень удивился, подкатываясь Марковне под бочок, – не проснулась.

Вспомнил сон, и опять прознобило, прижался осторожно к теплой Марковне, вздохнул, но вместо того, чтобы погрузиться в дрему, ясно увидел Пашкова. Вчера встретил. Уж четвертый месяц в Москве, но впервой увидел Афанасия Филипповича. На коне проскакал, обдал грязью. Напоролся глазами, но не выдал себя, сделал вид, что не узнал. Еще и бабу какую-то столкнул с дороги. Бедная уж так шлепнулась задом в лужу – зазвенело.

Пригрезился Пашков, и встало перед глазами сразу все. Башня в Братске, страна Даурия...

Утром, помолясь, Аввакум в церковь не пошел.

– Ты что это, батька? – удивилась Анастасия Марковна.

– Не хочу сатану тешить. Ох, эти денежки! За денежки мы стали покладисты, Марковна. Думаем, по доброте дают, а давали зла ради, покупая чистое, белое, чтоб и мы с тобой были, как они, чернехоньки, с хвостами поросячьими.

– Батька! Батька! – закричал, гремя цепью, Филипп. – Белый за твоим правым плечом. С крыльями.

– Вот и слава Богу, что белый.

– По морозцу я соскучился, – сказал Федор-юродивый, сидя на порожке. – Давно ноги не ломило, давно не корчило.

– Как же ты, батька, на Печатный двор-то пойдешь? – засомневалась Анастасия Марковна. – Книги по-ихнему надо будет править.

– Я по-ихнему не стану править, – сказал Аввакум. – Очини-ка мне перо, голубушка, у тебя тонко очиняется... Афанасия Филипповича вчера встретил, чуть конем меня не переехал, а узнать не узнал. Отшибло память у бедного.

– Про чего ты написать хочешь?

– А про все. Как гнали нас в могилу, да Бог не попустил. Как насилуют, будто девку, святую веру. Молчал, сколь мог, да иссякло терпение. Скажу все, как есть.

Начертал Аввакум, разгоняясь мыслью, положенное начало: «От высочайшая устроенному десницы благочестивому государю, царю-свету Алексею Михайловичу, всея Великая и Малыя и Белыя России самодержцу, радоватися. Грешник протопоп Аввакум Петров, припадая, глаголю тебе, свету, надеже нашей».

Бежала рука быстрее да быстрее, вскипело пережитое, пузырились чернила на кончике пера: «...яко от гроба восстав, от дальняго заключения, от радости великия обливался многими слезами, – свое ли смертоносное житие возведу тебе, свету, или о церковном раздоре реку тебе, свету!»

И опершись на Иоанна Златоуста, на послание к горожанам Ефеса о раздоре церковном, сказал о русском православии: «Воистинно, государь, смущена Церковь ныне». Рассказал о чуде, какое видел в алтаре в Тобольске. О Никоновых затейках помянул, о том, что патриарх «поощрял на убиение». О мытарствах своих поведал, о безобразиях воеводы Пашкова. Рассказал, как шесть недель шел по льду даурскому. Много писал, не поместилось на одном свитке писание, пришлось подклеить еще один.

«Не прогневайся, государь-свет, на меня, что много глаголю: не тогда мне говорить, как издохну!»

И сказанул о Никоне все, что на сердце было: «Мерзок он перед Богом, Никон. Аще и льстит тебе, государю-свету, яко Арий древнему Константину, но погубил твои в Руси все государевы люди душою и телом... Христа он, Никон, не исповедует». Перечислив все новшества, введенные патриархом, возопил, призывая: «Потщися, государь, исторгнута злое его и пагубное учение, дондеже конечная пагуба на нас не приидет». А за Афанасия Пашкова, кончая челобитие, просил: «Не скорби бедную мою душу: не вели, государь, ему, Афанасью, мстити своим праведным гневом царским».

– Соорудил себе казнь! – сказал Аввакум, глядя, как просыхают, теряя блеск, чернила.

Край листа остался чистым, и Аввакум приписал: «Свет-государь!.. Желаю наедине светлоносное лице твое зрети и священнолепных уст твоих глагол некий слышати мне на пользу, как мне жити».

Перечитал написанное вслух.

– Что, Марковна? Вдруг да и позовет к себе. Уж я тогда скажу ему! Вышибу слезу-то из сухих глаз.

Свернул челобитие трубочкой, положил на божницу. Три дня не дотрагивался, все три дня молился, а домочадицы с Анастасией Марковной шубы чинили, пристраивали в складках тайнички, деньги зашивали на черный день.

12

Отпустила боярыня Анна Ильинична Малаха в Рыженькую. Лошадку ему дали двадцатигодовалую, но сам телом легок, подарок Маняшины да сыновьи тоже не тяжелы. Поехал себе, не понукая старую. Идет, везет, и слава Богу.

Лошадка оказалась мудрая. Испытала терпение возницы – не шумит, не стегает – рысцей пошла. Как в гору, Малах спрыгивал с телеги, ободрял работницу ласковым словом. Лошадка прядала ушами, благодарно вздыхала.

Нужно было к жатве поспешать, но Малах правил в иную сторону.

Носил он в ладанке горсть земли со своего поля. Запало ему в сердце получить через ту горсточку благословение всему полю. В Москве не набрался смелости открыть желание дочери и детям, а как поехал восвояси, так рука и потянулась к ладанке. Решился – была не была. Дорога дугой, да лишь бы жизнь была прямая. К святейшему, в Новый Иерусалим отправился.

Никон ныне как прыщ на языке, многие смелы поносить гонимого. Сказать о патриархе непристойность – заслужить милость сильных мира. Это ли не сатана?

В первый день пути пришлось Малаху под ясными звездами заночевать. Остановился возле рощицы у малой речки. Рыбаки ему щучку подарили, голавликов с плотвичками.

Запалил Малах костерок, стал ушицу варить.

Вдруг голоса, шаги и – молчок. Малах, заслоня глаза, глядел-глядел во тьму да и позвал:

– Эй, человек! Поспела ушица!

К костру подошли три монахини.

– Дозволь, дедушка, погреться? Идем, идем, а жилья все нет.

– Похлебайте ушицы, говорю! Ваша еда, постная.

Монашенки были молоды, а под глазами черные круги.

Помолились, достали свои ложки, свой хлеб.

Похлебали.

– Ложитесь на телеге спать, – предложил Малах.

– А мы и ляжем, – согласились монашенки.

Двое пошли укладываться, третья осталась у огня.

– Далеко ли путь держите? – спросил Малах.

– В Никольский монастырь, в Арзамас. Собирали в Москве деньги на строительство, да больно много собиральщиков, дающих мало.

Малах поглядел на монахиню позорче: лицо пригожее, а глаза уж такие медленные, глянут и замрут.

– Тебя, бедную, чай, обидели?

– Инокиню нельзя обидеть, мы не от мира сего... Да из меня, знать, плохая монашенка...

Повстречалась нам нынче великая мерзость. Зашли мы утром в село у дороги, в имение княжича Якова Никитича Одоевского, а княжич над своими крестьянками казнь творит. Была у него псовая охота. Приказал он крестьянкам лечь с его гостями. Семь исполнили волю, а три – нет. Этим трем завязали платья над головой, поставили к столбам, и велел княжич всей деревней бить их по стыдному месту, за прекословие. Глядя на то позорище, не сдержалась я, грешница, пригрозила Якову Никитичу проклятьем. Он засмеялся, крестьянок отпустил, а нас привязал. До вечерней зари стояли... Такие ныне православные бояре у православного царя. Антихрист шастает по Русской земле.

– Так ведь шастает! Меня за крест по шее да по щекам били, – сказал Малах. – Один раз за то, что двумя перстами крестился, другой раз за то, что тремя...

– Живем сатане на смех. В монастыре нашем Великим постом драка случилась между старицами. Одни кладут поклоны на молитве Ефрема Сирина, а другие не кладут. До крови бились.

– Прибывает злобы в людях.

– Прибывает. Как саранча плодится.

Улыбнулась вдруг жалобно.

– Посплю возле огонька. Люблю на искры смотреть. Я бы и на звезды поглядела, глаз не сомкнувши, на хвостатую особливо, да уж больно вымучил нас Яков Никитич. Глупенький, на его потомках слезы инокинь отольются.

Легла на землю, положила голову на ладонь.

– Как зовут тебя, старица?

– Аленой.

Утром проснулся, а стариц след простыл. Попил Малах из реки водицы, напоил лошадь и дорогой все раздумывал о бесовстве именитого княжича.

– Господи, чего впереди-то ждать?

Новый Иерусалим утешил, показался иконой наяву.

Малах молился в приделе, называемом «Гефсимания». Здесь и увидел патриарха. Изумился, на колени стал. Никон подошел к старику.

– О чем спросить желаешь, добрый человек?

– Благослови, святейший, поле. В этой ладанке частица земли моей. Рождает поле, не стареет, да я стар, силы убывают. Страшно мне, святейший, не досталось бы поле худому работнику после меня. И другое страшно. А вдруг поле тоже состарится, родить перестанет.

Задумался Никон.

– Многие ко мне приходят, но не было более разумного, чем ты. – Трижды поцеловал Малаха, повел с собою в алтарь, миром помазал и его и ладанку и дал еще одну: – Здесь земля из Гефсиманского сада. Поступай с нею по твоему сердцу, на груди носи, передавая из рода в род, или рассыпь по своему полю. Всяко будет хорошо. Блажен твой труд, сеятель. Помолись обо мне, о грешном Никоне, а я о тебе помолюсь.

Спросил имя и отпустил.

Поехал Малах в великой радости, грудью чувствуя обе землицы, свою и святую.

13

22 августа, на преподобную Анфису, по приказу царя Алексея Михайловича настоятеля Чудова монастыря архимандрита Павла рукополагали в епископы с наречением митрополитом Крутицким.

Аввакум собирался воспользоваться этой хиротонией[52], чтоб вручить свое писаньице великому государю из рук в руки, но разболелся. Не мог головы от подушки поднять.

– Давай-ка я отнесу челобитие, – сказал Аввакуму Федор.

– Государь не любит, когда к нему с письмами устремляются. Стража у него на руку быстрая: поколотят.

– Царь побьет – Бог наградит.

– Дерзай, коли так, – согласился протопоп. – В церкви не подходи, а вот будет в карету садиться, тут уж не зевай. Да смотри, чтоб никто из его слуг грамотку не выхватил, в самые царские ручки положи.

Устремился Федор исполнять повеление батюшки Аввакума, как ласточка. Пролетел через стражу, да Алексей Михайлович кинул от себя письмо, будто руки ему обожгло. Стража

спохватилась, поволокла Федора прочь от царя, да юродство силу дает человеку невероятную. Из ласточки медведем обернулся. Двух царских служек зубами хватил. Его пихают, топчут, а он дерзновенно поднял в деснице челобитие, кричит на всю Ивановскую:

– Царю правда руки жжет!

Отволокли Федора под Красное крыльцо, там и спросили наконец: от кого челобитие?

Узнав, что от Аввакума, царь прислал за письмом Петра Михайловича Салтыкова. Федора отпустили.

Спрашивал Аввакум смельчака:

– Салтыков грубо письмо забирал али вежливо?

– Вежливо, – ответил Федор, потирая шишки, поставленные рукастыми царевыми слугами.

– Скажи, Федор, по душе будет царю писание мое или же осерчает?

– Коли не читавши людей бьет, то прочитавши захочет сжечь – и тебя, и меня, и письмо твое.

– Болтай! – не согласился Аввакум.

А Федор не болтал.

Челобитная Аввакума привела Алексея Михайловича в ярость. Кричал Салтыкову, бывшему в тот день возле царя:

– Сукин он сын! Погляди, что пишет, злодей! «Я чаял, живучи на Востоке в смертях многих, тишине здесь в Москве быти, а я ныне увидел церковь паче и прежнего смущенну». Кто смутитель-то? Петр Михалыч, чуешь, на кого кивает этот дурак?! «Не сладко и нам, егда ребра наша ломают и, розвязав, нас кнутьем мучат и томят на морозе гладом. А все церкви ради Божия страждем». Они страждут, а царь только и знает, что ереси плодит. Выхватил из нового служебника словцо и тычет своему царю в самую харю: «духу лукавому молимся». Вели, Петр Михайлович, прислать ко мне подьячего из Тайного приказа. Всех научу, как письма царю писать! Прикажу сжечь Аввакума.

В царских дворцах стены с ушами. За прибежавшим на зов царя подьячим дверь не успела затвориться, как явилась Мария Ильинична.

– Уж и за дровишками небось послал?! – закричала на мужа, не стыдясь чужих глаз и чужих ушей. – Правды ему не скажи! Одного лису Лигарида слушаешь. Он тебе в глаза брешет, а ты и рад. Хочешь, чтоб Москва мясом жареным человеческим пропахла?

Царь струсил, а Петр Михайлович в ужасе выскочил вон из комнаты.

– Матушка, почто шумишь? Кто тебя прогневил? – спросил Алексей Михайлович невинно, но Мария Ильинична так на него глянула, что головой клюнул.

– Совсем уж с греками своими с ума спятил! Не обижай русаков, батюшка. Коли отвадишь от себя русаков, чей же ты царь-то будешь?

Постояла перед ним, величавая, прекрасная, и ушла.

Алексей Михайлович глянул на подьячего.

– Ты вот чего... Садись-ка да пиши быстро. Совсем дела запустили. Пиши к Демиду Хомякову в Богородицк. Жаловался, что плуги многие да косули заржавели. Пиши: пусть не бросается ржавыми-то! Пусть все ржавое передельвает во что сгодится.

Пока подьячий писал грамотку, Алексей Михайлович достал хозяйственную книгу.

– Шестого августа просили мы прислать из Домодедова на Аптекарский двор двадцать кур индийских.

– Так их прислали, великий государь.

– Прислать-то прислали! Я просил, чтоб сообщили остаток.

– Сообщили, великий государь. Принести запись?

– Принеси.

Подьячий умчался.

Алексей Михайлович вытер платочком взмокшее лицо. Понюхал платок. Розами пахло. Царица-голубушка розовым маслом на его платки капает, для здоровья. Запах был чудесный.

– Фу! – сказал Алексей Михайлович и тотчас вспомнил про Аввакума, позвонил в колокольчик. На зов явился комнатный слуга.

– За Петром Михайловичем сбегай, за Салтыковым.

– Он здесь.

Явился Петр Михайлович.

– Ты вот что, – сказал государь, с ужасным вниманием пялясь в хозяйственную книгу. – Ты сходи к Аввакуму, скажи ему, пусть о Пашкове толком напишет. Да еще скажи: довольно ему людей простодушных распугивать. Не куры. Мне говорили, где Аввакум побывал, там церкви пусты... Узнай все и доложи о запустении, верно ли?

В комнату вбежал подьячий, быстрехонько поклонился, раскрыл книгу.

– Вот, великий государь! В Домодедове осталось тринадцать петухов, двадцать девять куриц, сто сорок одна молодка.

– Это в остатке? – Лицо Алексея Михайловича стало серьезно и даже озабоченно.

– В остатке, великий государь!

– Приплод не велик, но теперь, думаю, расплодятся, коль сто сорок молодок у них.

– Да уж расплодятся, великий государь.

14

Аввакум писал о Пашкове:

«В 169 Афонасей Пашков увез из Даур Никанские земли два иноземца, Данилка да Ваську, а те люди вышли на государево имя в даурской земле в полк к казакам... Да он же, Афонасей, увез из Острошков от Лариона Толбозина троих аманатов...»

Да он же увез 19 человек ясырю у казаков. А та земля без аманатов и досталь запустела...

Да он же, Афонасей, живучи в даурской земли, служивых государевых людей не отпускаючи на промысел, чем им, бедным, питатися, переморил больше пяти сот человек голодною смертью...

Да он же, Афонасей Пашков, двух человек, Галактиона и Михаила, бил кнутом за то, что один у него попросил есть, а другой молвил: «Краше бы сего житья смерть!» И он, бив за то кнутом, послал нагих за реку мухам на съеденье и, держав сутки, взял назад. И потом Михайло умер, а Галактиона Матюшке Зыряну велел Пашков в пустой бане прибить палкою...»

И о других многих злодействах, нелепых, страшных, поведал Аввакум.

Закончив писаньице, сказал Анастасии Марковне:

– Знать, пронесло грозу над нами. Пашкову-горемыке достанется. Поделом, а ведь жалко дурака.

– Что его-то жалеть, зверя? – сказала Анастасия Марковна. – Жалко благодетельниц Феклу Симеоновну да Евдокию Кирилловну.

Вот уж ко времени помянула!

Дверь отворилась вдруг, и вошел... Афанасий Филиппович Пашков.

Взошло бы солнце среди ночи, меньше было бы дива.

Анастасия Марковна шею вытянула, руки подняла, но забыла опустить. Аввакум щурил глаза и головой от света отстранялся, чтоб разглядеть: не поблазнилось?

– Я, батюшка! Собственной персоной, ахти окаянный Афанасий.

– Афанасий по-русски «бессмертный», – сказал Аввакум.

– А ты кто у нас по-русски?

– Я – «любовь Божия», Афанасий Филиппович.

– А Филипп тогда кто?

– «Любящий коней».

– Ты – Бога, а я, бессмертный, – коней. – Пашков улыбнулся.

Аввакум пришел в себя, встал, поклонился бывшему воеводе.

– Заходи, Афанасий Филиппович, коли дело есть до нас, ничтожных. Уж очень легок ты на помине: челобитную царю пишу о деяниях твоих. Не Петр ли Михайлович шепнул тебе об этой челобитной?

Пашков, седенький, лицом белый, улыбнулся протопопу своими синими глазами, ужасными, когда тиранство творилось.

– Просить тебя пришел, батюшка Аввакум. В Даурах все трепетали предо мной, один ты перечил, к Богу о правде взывая. Сильнее ты меня, батюшка.

– Бог сильнее, Афанасий! Бог!

– Бог-то Бог... По-твоему получается. Постриги меня, как грозил.

– Опалы боишься?

– Боюсь, батюшка. Коли царь возьмется разорять, так разорит все мое гнездо. На сыне моем, сам знаешь, вины большой нет, на внучатах... Ты уж смилуйся, постриги меня.

Встал на колени.

– Не передо мною! – крикнул Аввакум. – Перед Господом!

Указал дланью на икону Спаса.

– Ему кланяйся!

Пашков на коленях прошел через горницу, у божницы поднялся, приложился к образу.

– То-то, – сказал Аввакум. – Постричь – постригу, с великою радостью в сердце. Но Фекла-то Симеоновна готова от мира отречься?

– У нас уговор. В один день пострижемся.

– Накладываю на тебя трехдневный пост, через три дня приходи.

– Нет, батюшка, – покачал головой Пашков. – Теперь же идем в Чудов...

– Не на конях, чай, скачешь, Афанасий Филиппович!

– На конях, Аввакум. На скорых... Поторопись исполнить пред Богом сказанное... За тобой скоро придут, дорога тебе дальняя. В Пустозерск. Слышал о таком?

– Не помню.

Стал Аввакум бледен, поглядел на Анастасию Марковну:

– Собирайся, Марковна. – Посмотрел в глаза Пашкову: – Уж не радуешься ли ты, Афанасий Филиппович?

– Радуюсь, Аввакум, но душа моя плачет, Фекла Симеоновна слезами вся залилась.

...Когда Аввакум воротился из Чудова монастыря, его ждал все тот же Петр Михайлович Салтыков.

– Велено сказать тебе от великого государя. – Салтыков был строг, но говорил без норова. – Власти на тебя жалуются, запустошил ты церкви Божии, а посему отправляйся в ссылку. Велено тебе жить в Пустозерске, где полгода ночь.

– Стало быть, и день на полгода, – сказал Аввакум.

– Отче наш, Иже еси на небесех! – поднимаясь на ноги, захлебываясь слезами, зарыдал, как малое дитя, Филипп. – Да святится имя Твое! Аввакум, батюшка, о тебе Христос сказал: «Да святится имя твое». Эй! Царев язык, скажи своему царьку – про Аввакума Христос сказал: «Да святится имя твое!»

Филиппа перекорчило, рванулся, цепь лопнула, и бедный Салтыков побежал к двери, уроня шапку. Филипп настиг его одним скачком, поднял шапку, подал, кланяясь, тыча левой рукой в сторону Аввакума и жарко шепча:

– Да святится имя... его! Да святится имя... его, перед Господом.

Вечеряли. Слышно было, как ложки черпают сочиво, как рты всхлипывают, как перемалывают горох зубы.

Поели. Поблагодарили Бога за пищу. И все остались за столом, ожидая от главы семейства, что кому скажет делать. Аввакум молчал.

– Батюшка! – упала на колени Агафья. – Сходил бы ты в церковь, к Успению. Царю побегут и скажут, что ты у правила, он и смилостивится. Он отходчивый.

Аввакум устремил на монашенку спокойные, ласковые глаза. Поднял руку, сложив два перста вместе.

– А молиться как прикажешь? По-нашему? По-ихнему?

– Столько давали, а теперь вконец разорят! – тихонько заплакала Фетинья.

Аввакум украдкой поглядел на Анастасию Марковну. Сидела, оперевшись спиной о стену, отрешенная.

– Что скажешь, матушка? – спросил Аввакум.

– За нас с тобой, отец, Иисус Христос решил.

– Сочиво ныне вкусно было, – сказал Аввакум.

– Вку-у-у-сно! – взревел радостно Филипп.

– Я пойду помолюсь! – соскочил с лавки Федор-юро-дивый.

Опомниться не успели, а он за дверь, да и был таков.

– Пригляди за ним, побереги милого, – сказал Аввакум Агафье, поднялся из-за стола, обнял и поцеловал сыновей, дочерей, домочадиц. – Помолимся, родные. Помолимся, голуби мои.

Часа не минуло, прибежала Агафья, держась за сердце. До того запыхалась, сказать ничего не может. Дали ей водицы, посадили на лавку. Отдышалась, слава Богу.

– Увели Федора под белы рученьки в Чудов монастырь. Уж больно шаловал перед царем.

– Толком расскажи! – прикрикнул на Агафью Аввакум. – Юродство – не шалость.

– Шалил Федор! Шалил!

– Да как же?

– По-козлиному блял, норовил боднуть царя.

– Игумна в Чудове избрали вместо Павла?

– Не успели. Павел в Чудове пока живет, не переехал на Крутицкое подворье.

– Пойду к нему, – сказал Аввакум.

– Павел в Успенском. Где царь, там и Павел.

– В Успенский пойду.

Агриппина уже спешила посох батюшке подать, Иван – скуфью, Анастасия Марковна – большой нагрудный крест.

Затаился опальный дом, ожидая, что будет.

В тот вечер последний раз встретились лицом к лицу царь и Аввакум. Стоял протопоп у левой стены, возле иконы Спаса Златые Власы. Царь пошел прикладываться к образам, увидел Аввакума, замер. Аввакум же, поклонясь, смотрел на царя, и ни единого слова не дал ему Господь, молчал. Алексей Михайлович спохватился, поклонился, а пройти мимо не может. Смотрит и молчит. Отвернулся тогда Аввакум, на Спаса устремил глаза, царь тотчас отступил да еще и стороной прошел, торопясь.

Наутро в доме Аввакума ждали пристава, но никто не заявился. И на другой день не тронули. На третий – радость: бывший сторож Благовещенской церкви Андрей Самойлов привел Федора. Федор смеялся, целовал руки протопопу. Пришлось Андрею рассказать, что да как.

В первую ночь заковали Федора, на цепь посадили. Пришли утром, а цепи свернуты под головой у блаженного. Спит на цепях, неведомо кем освобожденный.

Послали в хлебню дрова к печи носить. А хлебы только что испекли. Федор порты скинул, полез на пышущую жаром печь, сел гузном и давай хлебные крошки подбирать. Монахи ужаснулись, побежали к Павлу. Павел – к царю. Царь тоже чуть не бегом прибежал в монастырь. Монахи, боясь, как бы не оскорбился великий государь видом голого в хлебне, вытащили Федора из печи, одели, хлеба дали. Государь благословился у Федора и велел отпустить.

Только-только возрадовались домочадцы избавлению блаженного от заточения, пожаловали-таки приставы.

– Поехали, протопоп!

– Одного берете?

– Отчего одного?! Вытряхайся из Москвы со всем семейством, со всеми своими приживалами.

Был дом полная чаша, да не позволили много взять. Каждому по узлу, по шубе... Три телеги всего дали на ораву протопопову. Четвертая – для стрельцов.

– Хороший день выбрал царь для нашего изгнания, – сказал Аввакум, усаживаясь перед дальней дорогой. – Усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Благослови же нас, великий отче.

Когда встали, пошли, Анастасия Марковна обернулась на пороге, и сорвалось с губ ее горькое слово:

– Господи! Батька Аввакум, так и не было у нас с тобой дома своего. Всякое гнездо наше – перелетное.

– Матушка, о чем горевать? – улыбнулся Аввакум. – Мы все на земле гости. Не здесь наша обитель, не здесь палаты наши узорчатые. Жили в Москве, проживем теперь в Пустозерске. Живут же там люди, своею волей живут.

Провожать батюшку поехал сердобольный сторож Андрей Самойлов. Аж до Холмогор проводил.

16

Аввакум всего лишь протопоп, с ним проще... Не охладила Сибирь – Ледовитый океан приморозит. А вот как быть с Никоном?

На другой уже день после Симеона Столпника, после празднования Нового года, Алексей Михайлович решал, кому ехать к вселенским патриархам.

Паисий Лигарид присоветовал государю отправить к патриарху Константинопольскому Дионисию Стефана Юрьева. Это был грек из свиты Лигарида. Алексей Михайлович согласился, но вместе со Стефаном поехал подьячий Тайного приказа Порфирий Оловянников. К другим патриархам Востока опять послали иеродиакона Мелетия.

Наказ, данный Мелетию, гласил: «Непременно так сделать, чтобы александрийский, антиохийский, иерусалимский и бывший Паисий, а по нужде два, антиохийский и иерусалимский, приехали бы. А которые захотят прислать за себя, то говорить накрепко, чтоб прислали архиереев добрых, ученых, благоразумных, однословных, крепких, правдивых, могущих рассудить дело Божие вправду, не желая мзды и ласкания, не бояся никакого страха, кроме страха Суда Божия. И ты, Мелетий, будучи у вселенских патриархов, памятуя страх Божий, про патриарха Никона никаких лишних слов не говори, кроме правды».

К турецкому султану царь направил дворянина Дмитриева. В Молдавию поспешил Василий Иванов, проведать, там ли патриарх Нектарий.

Дорога посланникам предстояла долгая и опасная, через войну.

Никон, узнавши об этой ораве посланников, плакал. Знал Алексея Михайловича: любовь его горяча и щедра, но коли сердце у него к человеку остыло, хоть сгори – привязанность не воротишь.

Ум знает, да сердце надеется. Написал Никон письмо Алексею Михайловичу.

«Мы не отмечаем собора и хвалим твое изволение, как Божественное, если сами патриархи захотят быть и рассудить все по Божественным заповедям евангельским... Но прежде молим твое благородие послушать малое это наше увещание с кротостию и долготерпением... Если собор хочет меня осудить за один уход наш, то подобает и самого Христа извергнуть, потому что много раз уходил зависти ради иудейской. Когда твое благородие с нами в добром совете и любви был, и однажды, ненависти ради людской, мы писали к тебе, что нельзя нам предстательствовать во святой великой церкви, то каков был тогда твой ответ и написание? Это письмо спрятано в тайном месте одной церкви, которого никто, кроме нас, не знает. Ты же смотри, благочестивый царь, чтоб не было тебе чего-нибудь от этих твоих грамот, не было бы тебе это в суд перед Богом и созываемым тобою вселенским собором. Я это пишу не из желанья патриаршего стола, желаю, чтоб святая церковь без смущения была и тебе пред Господом Богом не вменился бы грех. Пишу, не бояся великого собора, но не давая святому царствию зазора... Епископы наши обвиняют нас одним правилом первого и второго собора, которое не о нас написано. Но как о них предложится множество правил, от которых никому нельзя будет избыть, тогда, думаю, ни один архиерей, ни один пресвитер не останется достойный! Константинопольского патриарха русские епископы при поставлении клянут все... Ты послал Мелетия, а он злой человек, на все руки подписывается и печати поддельывает... Есть у тебя, великого государя, и своих много, кроме такого воришки».

Прочитав письмо, Алексей Михайлович только буркнул:

– Послать бы тебя за Аввакумом следом, в Пустозерск, язык приморозить.

В великом смущении пребывал великий государь. Иерусалимский патриарх Нектарий, не ведая, что к нему едут звать в Москву, на собор, на суд, прислал своего человека, именем Савелий, с двумя грамотами, царю и патриарху. Царю Нектарий писал: «Когда наша церковь находится под игом рабства, мы уподобляемся кораблям, потопляемым беспрестанными бурями, и в одной вашей Русской Церкви видим ковчег Ноев».

О словесном отречении Никона от патриаршества Нектарий просил забыть. Таких обидчивых отречений история знает немало, никто из патриархов не был извержен со святого престола за обидчивое слово. Никона должно возратить в Москву, ибо он не подавал письменного отречения, а царь и народ такого отречения не принимали.

Савелий, позванный к великому государю, передал словесный наказ Иерусалимского патриарха.

– Кир Нектарию стало известно: Лигарид называет себя в Москве патриаршим экзархом, это есть самозванство. Кир Нектарий молит тебя, великий государь, не принимать греков за патриарших послов, если на их грамотах нет печати патриарха. И не давай, Бога ради, переводить патриарших грамот грекам: утаят правду.

– Почему святейший Нектарий так печется о патриархе Никоне? – спросил Алексей Михайлович напрямик.

Савелий ответил, нимало не задумавшись:

– Я слышал от моего патриарха своими ушами: кроме Никона, на престоле другому никому быть нельзя, ибо вины его никакой нет.

Подумалось Алексею Михайловичу: «А что, если и впрямь вернуть Никона?»

И содрогнулся. Такая дрожьхватила, крикнул постельничему, старику Ртищеву, отцу Федора Михайловича:

– Принеси шубу! Бегом!

А одевшись, романей велел принести, еле-еле отогрелся.

Патриарху Никону снилось детство. Он в печи. Его бьет лихорадка, он залез в печь согреться. Мачеха налетает коршуном, набивает печь дровами. Он таится в уголке, у самого устья печи. Краешек исподней рубахи высовывается, мачеха видит подол и торопится. Выгребают из подтопка тлеющий уголек, вздувает лучину... Они оба слышат, как стучат их сердца. Береста вспыхивает светло, мотыльки огня насаживаются на стреляющие чешуйчатые веточки сухой елки. Мачеха затворяет зев печи железной заслонкой. Он терпит жар, ждет, чтоб мачеха ушла, и она уходит досыпать. О спасительное терпение! Он отодвигает заслонку, выбирается из огненной могилы. Рубашка пахнет дымом, но лихорадки нет. Лихорадка сгорела.

«Господь избавил от смерти горестного отрока, – сказал себе Никон, пробудясь, – неужто горестного патриарха не избавит от несправедного царского гнева?»

Задумчив был святейший в то осеннее плакучее утро. Несло мокрую листву с деревьев. Листья насаждались на стены храма, как птицы. В этом Никону чудилось малое знамение: даже ветер строит его храм... Даже ветер.

Постоял в холодной пустоте своего детища. В холода, в дожди какое строительство? Сегодня лепишь, завтра рухнет. Смотрел на зияющее, стесненное стенами небо, слышал, как грызет сердце тихая немочь.

– Не дадут построить, – сказал он одними губами, но все-таки посмотрел влево и вправо и за спину.

Один. Ему не мешали, он это знал, но одиночество стало вдруг таким обидным – слезы покатались.

Боковым зрением увидел вдруг монашка.

– Святейший! – кланялся монашек. – К тебе приехали.

– Кто такой смелый?

– Боярин Зюзин приехал, да от великого государя окольниковый Сукин, а с ним дьяк...

Брехов.

– Всех-то слуг у царя – Сукин с Бреховым... Пусть ждут. Я пошел в скит, приведи туда боярина Никиту Алексеевича. Да узнай, с чем пожаловали московские голубчики.

– По сыску о деле Сытина.

– Ишь, дело нашли!.. Я поцусь в скиту. На три дня пост. Пусть ждут.

Зюзин заехал в Воскресенский монастырь, возвращаясь из Новгорода. Пришел в скит с мешком, кинул мешок у порога, упал перед святейшим на колени, ожидая благословения.

Никон поднял боярина, благословил.

– Тысячу рублей собрали твои новгородцы, святейший, – сказал Зюзин, указывая на мешок.

– Тысячу...

– Тысячу тридцать три рубля девять алтын и четыре деньги.

– Зачем же ты деньги у порога кинул? Чай, жертвенные.

Зюзин поднял мешок, не зная, куда положить.

– Высыпай на стол.

Деньги, стучаясь, как градины, легли кучею.

– Серебро, – сказал Никон с удовольствием.

– Никакой меди... Новгородцы любят тебя, святейший.

– Помню их любовь. До сих пор косточка в груди болит.

– А мне опять неудача, – вздохнул боярин. – Хлопочу, хлопочу завести поташное дело[53], а всем денег дай.

Никон показал на стол:

- Вот тебе деньги. Бери.
- Эти на храм.
- Ничего, я благословляю.
- Да сколько же?

Никон провел рукою посреди кучи.

- Столько не могу взять! – замотал головой Зюзин.
- Бери сколько можешь.

Зюзин повздыхал, подставил к краю стола мешок, отгреб часть денег, не приближаясь к мете патриарха. Подумал, еще отгреб...

- Спасает меня, святейший.

– Нектарий, патриарх Иерусалимский, прислал мне письмо. Не выходит по-цареву. Нектарий умоляет вернуть меня в Москву.

– Стало быть, самое время поддакнуть! Уж я расстараюсь! Алексей без поддаканья ничего сам не сделает... Я знаю, кого послать к нему со словом душевным. – Кинул на пол мешок. – Упаси меня Боже, не за деньги мои старания. Душа по тебе изболелась, святейший.

Никон сел в кресло.

– Когда-то я много хотел. Теперь одно на уме: Иерусалим достроить, мой Иерусалим... Не дострою, останется русское православье на века без куполов. А кресты-то, Никита Алексеевич, над куполами. Вот о чем моя печаль.

Зюзин стоял опустив голову, встрепенулся.

- Нет, не унываю! Благослови в Москву поспешать.

– Поспешай, друг мой. – Святейший осенил Зюзина крестным знаменем. – Все от Бога. Я тут на пустошь одну поглядывал. Вот бы, думал, где Мамврикийскому дубу расти. Все глядел да глядел, а позавчера взял посох, пошел. И что же? Растет. Крошечный дубок, с двумя листьями...

- Чудо!

– Да, может, и не чудо... Но растет! И на том самом месте, где душа моя жаждала видеть огромного великана... Спеси, Никита Алексеевич! Спеси. Может, чего и успеем.

Зюзин подхватил мешок, поклонился, убежал.

Вслед за боярином покинул скит и сам святейший. Собирался пойти в монастырь, не гневить попусту царевых слуг, но пошел в другую сторону, в Гефсиманский сад, говоря:

– «И вышед, пошел, по обыкновению, на гору Елеонскую... И находясь в борении, прилежнее молился; и был пот Его, как капли крови, падающие на землю».

В Иисусовом любимом месте, в Гефсимании, росли плодоносящие маслины. Камень, возле которого Господь молился, был сухим от вечного зноя Палестины.

Здесь тоже сыскался камень, углом выпирал из земли. Камень тускло блестел от влаги, во впадинках его гнездилися изумрудный мох.

Вспомнилось, как в Анзерах предался однажды неистовому молению, желал кровавого пота. Старец Елеазар догадался о том, прервал его молитву, послал в море, с сетью. Двенадцать раз закидывал он тогда сеть и поймал всего одну рыбу.

Никон с тоской оглядывал свою Гефсиманию. Деревья – ветлы да черемуха.

– Мир полон Иудами! – сказал себе Никон, думая о сонме бояр, некогда искавших его расположения.

В Иерусалиме в шестидесяти шагах от камня, от места предсмертной духовной борьбы Иисуса Христа, – скала с пещерой, где в ночь предательства спали апостолы. И есть в Гефсиманском саду вертеп с гробом Пресвятой Богородицы. Сего соорудить нельзя, но можно держать в сердце своем.

– Время отступничества, водворение власти тьмы! – Яростно полыхнуло сердце, упал на мокрую землю, отвесил сорок поклонов и по мосткам через поток Кедрон поспешил к лестнице перед Елизаветинской башней.

Сукин и Брехов еще не остыли от негодования – три дня ждать! – когда увидели вдруг перед собою румяного от холодного воздуха, от быстрой ходьбы святейшего.

– Какое дело у великого государя до меня, грешного и ничтожного?

– Ты сам писал государю, сам посылал своего патриаршего, боярского сына Лускина для разбора сытинского дела.

– Сколько времени минуло! – удивился Никон. – Я думал, тому делу конец.

– Был бы конец, да в твоих словах, святейший, много неправды.

– Святейшей неправды, – усмехнулся Никон. – Что ж, спрашивайте.

– Ты писал великому государю, будто ничего не ведаешь о деле и что крестьян его бил батогами иноземец Лускин. Поймал-де он крестьян на озере, побил за то, что рыбу покрали. Но твой малый на допросе показал: когда крестьян привели в монастырь, их били батогами по твоему приказу. Ты посылал Лускина, чтобы учинить суд и розыск, а каков тут суд, если крестьян Сытина били дважды без свидетельства, без разбирательства.

Никон, побряхтывая, ерзал на кресле, не находя удобного положения телу.

– Я писал государю, что не знал про побои крестьян на озере. В монастыре я велел их бить слегка, за их невежество.

– У тебя отговорок много, – сказал Брехов. – Объяви нам, во что священное великий государь вступается, какие неправды чинит над тобою, каких клеветников, врагов Божиих, слушает? И еще объяви, чем великий государь в грех вводит чиновных людей, сидящих в патриаршей Крестовой палате? Там ныне сидят Рязанский архиепископ Иларион да Петр Михайлович Салтыков. Разыскивают, что при твоём патриаршестве из соборной церкви взято и что из монастырей – утвари, книг... Не бойся, не келейной казны ищут, церковные вещи, данные церквам прежними великими князьями да царями, а тобою отнятые.

– Спрашиваете, во что священное царь вступается? Да ведь он всем духовным чином завладел. Прежде чем в попы, в дьяконы кого-либо поставить, архиереи царского указа спрашивают. Государево ли это дело? За свое самоуправство он примет суд от Бога.

– Не с великого государя Бог взыщет, а с тебя, потому что ты престол свой оставил самовольно.

– Я пошел из Москвы от многих неправд и от изгнания. Все те неправды и изгнания были мне от великого государя. Ныне тоже неправды на меня возводят. Накупают многих людей, чтоб патриарха оговаривали. Ко псу святейшего приравнивают, а обороны от государя все нет. Вчера Роман Бабарыкин[54] на меня клеветал, сегодня Иван Сытин[55].

Сукин развел руками.

– Не знаем, кто тебя ко псу приравнивает, ни от кого такого не слыхивали. Кто тебе про то сказывал?

– Всякая тайна откровенна бывает от Бога.

– Разве ты дух прозорливый имеешь?

– Так-таки и есть.

– Как же! – засмеялся Брехов. – Чай, приезжают да лгут ссорщики.

– Да разве это неправда, что келейную мою рухлядь князь Алексей Никитич Трубецкой перебирал да переписывал? Где тут поклеп, если из нее лучшее великий государь себе взял? Не по царскому ли указу Паисий Лигарид сочиняет на меня лжесвидательства, выписывает и покупает говорунов, чтоб на соборе про мои деяния сказывали злые слова? Пятсот человек уж накуплено. Иных из Палестины хотят привезти. На то дадено тридцать тысяч серебром. Собору я сам рад. Был бы только праведный, а не закупной.

– Если ты лжесвидетелями называешь власти Московского государства, – сказал Сукин, – то примешь за это месть от Бога.

– Какие власти?! – воскликнул Никон. – Да кто в Москве может книжным учением говорить, правилами святых отцов? Они и грамоте не умеют.

– Один ли ты в Московском государстве грамоте научен? – спросил Брехов. – Есть ли кто другой?

– Есть, да не много.

– Не гордись, святейший. У великого государя из всяких чинов люди книжным учением и правилами с тобою говорить готовы. Им есть что говорить тебе на беду. – Брехов помолчал и убил: – На соборе будут вселенские патриархи.

Никон не нашелся, что сказать. Сукин и Брехов растерянность святейшего приняли как победу, поскакали в Москву со спешным докладом: испугался!

18

Перед праздником Введения Алексей Михайлович любил почитать «Беседу святого Григория Паламы». Царица Мария Ильинична слушала мужа любовно, положила руки на живот, на новое беремье свое.

Читал Алексей Михайлович негромко, наслаждаясь словом, святостью слова:

– «Если дерево от плода своего познается и дерево доброе плоды добры творит, то Матери Самой Благости и Родительнице Вечной Красоты как не быть несравненно превосходнее, чем всякое благо, находящееся в мире естественном и сверхъестественном?»

Речь лилась, баюкала. Мария Ильинична, ласково вздремывая, улыбалась виновато да и совсем заснула, а пробудясь, увидела Алексея Михайловича, стоящего над книгой, перстом указующего в поразившую его строку.

– Ты послушай, голубушка! Ты послушай!

– Слушаю, Алексей Михайлович.

– Здесь тайна бытия человеческого. Здесь она сокрыта, и не во тьме – в неизреченном свету. «Сиф рожден был Евой, как она сама говорила, вместо Авеля, которого по зависти убил Каин, а Сын Девы, Христос, родился для нас вместо Адама...» Чуешь, Мария Ильинична? Христос вместо Адама, «которого из зависти умертвил виновник и покровитель зла». Ты чуешь? «Но Сиф не воскресил Авеля, ибо он служил лишь прообразом Воскресения, а Господь наш Иисус Христос воскресил Адама, поскольку Он для земнородных есть Жизнь и Воскресение».

Алексей Михайлович подошел к иконостасу, целовал образа, плакал, чувствуя, что сердце в нем открылось, как дверь, и жаждет творить доброе.

Приснился ему в ту ночь Никон. Сидели они друг перед дружкой в блаженстве, любовь была между ними, как встарь. «Господи, друг мой собинный, – говорил Алексей Михайлович и не мог наглядеться на лицо Никона, – как же мы столько прожили вдаль друг от друга? Без сладкой беседы, надрывая сердца глупой обидой. Истосковался я по тебе». Святейший Никон, согласно прикрывая глаза, взял серебряную чарочку, зачерпнул из братины и подал. И Алексей Михайлович пил из чарочки, а Никон осушил до дна всю братину. «Ты же пьян будешь!» – испугался за друга царь, а Никон, умаясь в росте, показывал ему за спину. Алексей Михайлович оглянулся, а за спиною, во тьме, мужик. «Кто ты?» – крикнул царь и узнал: Аввакум!

Аввакум молча тащил огромный крест, поставил, а крест выше потолка, толкнул его, чтобы раздавить их...

– Проснись, проснись! Кричишь! – разбудила Алексея Михайловича Мария Ильинична.

Праздник Введения Богородицы во храм – это праздник детской любви к Господу. Праздник чистоты, высоты, безупречного чувства. На утрене со слезами на глазах пел Алексей

Михайлович славу Богородице: «Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим еже в храм Господень вхождение Твое».

В благостное сие мгновение подскакал к государю юродивый Киприан, подал челобитную, шебеча птицей:

– Чвирик-чвирик! От бабушки Аввакума, от протопопа, тобою гонимого. Чвирик-чвирик!

Грамоту царь принял, но уже не молился, не пел. Смутилась, опечалилась душа, уста запечатала.

Челобитие оказалось коротким, без Аввакумова ожесточения, без поучений.

«Помилуй мя, равноапостольный государь-царь, робятишек ради моих умилосердися ко мне! – писал Аввакум. – С великою нуждею доволокаю до Колмогор, а в Пустозерский острог до Христова Рождества невозможно стало ехать, потому что путь нужной (мучительный. – В.Б.), на оленях ездят. И смущаюся, грешник, чтоб робятишка на пути не примерли с нужи... Пожалуй меня, богомольца своего, хотя zde, на Колмогорах, изволь мне быть или как твоя государева воля, потому что безответен пред царским твоим величеством. Свет-государь, православный царь! Умилися к странству моему, помилуй изнемогшаго в напастех и всячески уже сокрушена: болезнь бо чад моих на всяк час слез душу мою исполняет. А в даурской стране у меня два сына от нужи умерли. Царь-государь, смилуйся».

Алексей Михайлович перекрестился.

– Небось уж отвезли тебя, протопоп, до самого Пустозерска. Раньше надо было о детишках горевать.

Подошел к иконе «Умиление», перекрестился страстно и горько.

– Богородица! Всех бы вернул и никого бы не отсылал прочь; но ведь не думают о царстве, не печалуются о своем царе! Попусти им – как волки, стаей кинутся. Прости меня в светлый день! Помилуй! Пошли всем гонимым благословение Свое. Пусть им будет тепло да сытно. Пусть славят Тебя, позабыв обиды свои. О Пречистая, да убудет в мире хитрой хитрости!

19

Хитрой хитрости не убывало.

Боярин Зюзин, ища дорогу к царскому сердцу, избрал себе в помощники Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина. Знаться с Зюзиным царь запретил Афанасию Лаврентьевичу еще два года тому назад, но слуга, докладывая о просителе, обронил:

– Плачет боярин. На улице мороз, слезы на щеках да на бороде горошинами замерзают.

– Принесло чертову попрошайку, – рассердился Афанасий Лаврентьевич, да о сыне-беглеце вспомнил, о Воине, умерил гордыню. – Позови Никиту Алексеевича. Небось денег на поташное дело будет просить.

Зюзин вошел, улыбаясь виновато, но голову держал крепко, не гнул шею.

– Не ради себя переступил я твой порог, Афанасий Лаврентьевич. Помнишь, что сказано Григорием Богословом: «О причине же моего прежнего противления и малодушия, по которому я удалился, бегая... а равно и о причине настоящей моей покорности и перемены, по которой я сам возвратился к вам, пусть всякий говорит и думает по-своему, так как один ненавидит, а другой любит...»

Ордин-Нащокин понял, о ком речь.

– Передо мной ли ходатайствовать тебе, Никита Алексеевич? У меня не хватило сил за псковичей заступиться, я просил, но таратую Хованскому[56] с головой отданы. Не смею огорчить великого государя еще одной просьбой.

– Ради Господа, не гони меня, выслушай.

– Я знаю, Никита Алексеевич, ты не из тех, кто, изостриша, яко меч, язык свой, стреляет словами тайно в непорочных.

– Истинно так, Афанасий Лаврентьевич! – Зюзин трижды поклонился, боярин – думному дворянину. – У великого государя на святейшего давно уж нет гнева, одна печаль осталась. Да и у святейшего не по себе скорбь. Великого государя обступили нарядившиеся в греков латиняне. Кто он есть, митрополит Газский, зловредный Паисий Лигарид? Ладно что жид, он папе римскому тайный слуга. Кто ныне возле царевича Алексея? Симеон Полоцкий. Ученый! Чья наука-то в нем? В коллегии иезуитской ума набирался. А все эти послы мелетии, стефаны – сонмище лживое? Афанасий Лаврентьевич, миленький! Почитай письмо святейшего. Я его письма жгу, а последние два сохранил, чтоб тебе показать. Никакого дурна великому государю не будет, если святейший воротится и возьмет в руки свои посох святого митрополита Петра.

Ордин-Нащокин письма принял, прочитал... Последнее его посольство к полякам кончилось ничем. Война довела народ до нищенства[57], но чтобы сотворить вечный мир, нужен хоть один сильный человек в царстве.

– Ах, кабы Господь Бог Церковь нашу умирил! – сказал Афанасий Лаврентьевич и признался: – Не ведаю, что мы доброго можем сделать.

– Я напишу святейшему письмо, позову воротиться в Москву. Великий государь только рад будет приходу господина нашего. У кого поднимется рука – гнать святейшего из своего же дома, яко пса?

Афанасий Лаврентьевич подумал и повторил:

– Ах, кабы Господь Бог Церковь нашу умирил!

Проводив боярина до крыльца, Афанасий Лаврентьевич, всполошенный мечтами Зюзина, достал из ларца, из потаенного ящика, письмо епископа Мстиславского и Оршского Мефодия к Алексею Михайловичу. Царь дал письмо, чтобы получить верный совет: на кого же опереться в Малороссии? Несчастливая, непостоянная страна! Снова и снова вчитывался Афанасий Лаврентьевич в строки Мефодиева послания, ища правды, но более неправды.

Епископ уличал в шаткости гетмана Брюховецкого, подсказывал, как держать его в узде: «Прежде всего надобно укреплять города государевыми ратными людьми, тогда гетман поневоле будет государя бояться и служить ему верно». К хорошему совету хороших бы денег на содержание войска. Ратники из полков разбегаются. Голодно. Голодно на Украине. Пропащая страна.

Ордин-Нащокин не любил казаков за «сметливость»: служат, кому ныне выгоднее, не думая ни о вчера, ни о завтра. Мелкодушный народ.

Письма Мефодия подтверждали эту легкую охоту к перемене господина. Гетман Правобережной Украины Павел Иванович Тетеря был при польском короле Яне Казимире, но присылал к Мефодию тайного человека, обещая переметнуться с казаками на сторону русских, если Алексей Михайлович простит ему вину, пожалует прежними, записанными в царских грамотах землями да городами. Клялся помирить великого государя с крымским ханом. Мефодий убеждал не держаться за Брюховецкого. Пусть великий государь простит Тетерю, пусть казаки выберут его гетманом обоих берегов Днепра, и левого, и правого, тогда и войне конец.

«Хохлы! Хохлы! – думал с неприязнью Афанасий Лаврентьевич. – Почитают себя хитрее сатаны. Кто бы мог подумать, чтоб Иван Выговский, вернувший себе, ласться к полякам, имя Ян, протер бесстыжие глаза, увидел, как слаб король, да и принялся поднимать народ против шляхты. Сложился силами с полковником Сулемой, призывал истреблять старост и каштелянов. И преуспел бы, да Себастьян Маховский напал на него враспloch, схватил, привязал к пушке, и бахнула та пушка, разметав хитрейшего из хитрых... Выговский погиб, Юрко Хмельницкий отрекся от мира, прошлогодний поход короля на Украину кончился полной неудачей... Бедный Ян Казимир так и не смог собрать большого войска, денег не было. Явился на левую, на царскую сторону Днепра, надеясь, что умные казаки поостерегутся биться с самим королем,

отпадут от московских воевод. Имея двадцать пять хоругвей конницы – полторы тысячи сабель да триста пехотинцев, – много ли навоюешь? Коронный гетман Станислав Потоцкий пришел к королю с тремя казачьими полками, четырьмя тысячами пехоты и только двумя ротами гусар, знаменитых «крылатых» конников. Менее двух тысяч воинов было у грозного Стефана Чарнецкого, а татары прислали всего пять тысяч...»

И все же тринадцать казачьих городов отворили перед королем ворота, а вот Лохвицу пришлось брать кровопролитным приступом.

Тетеря осадил Гадяч, но, услышав, что идет князь Григорий Григорьевич Ромодановский с калмыками, поспешил убраться подальше. Во-первых, ждал вестей из Москвы, а во-вторых, струсил перед именем калмыков. Всем было ведомо: калмыки ходили с русскими под Перекоп, побили татарских мурз, пленных же не брали и русским брать не позволили. Закальвали.

Если бы под Глуховом Яков Куденетович Черкасский действовал смелее, все бы польское войско полегло вместе с королем.

Бои шли теперь по всей Малороссии. Поляки увезли Киевского митрополита Иосифа Тукальского в Мариенбург, посадили в тюрьму. Туда же и инока Гедеоны – Юрка Хмельницкого. Это было хорошо, меньше интриг, но Ордина-Нащокина беспокоила новая мысль, явившаяся у поляка Чарнецкого и страстно поддержанная казаком Тетерей. Королю предлагали создать на Украине несколько старостатов, отдав власть казачьим полковникам и казачьему гетману. Тетеря предупреждал короля: крымский хан стремится оторвать Правобережную Украину от Польши. Спасение от татар не в войне с Крымом, сил уже нет, русские этой войной непременно воспользуются, ударят с тыла – спасение в одном: нужно искать и найти мир в Москве.

Миролюбивость Тетери Ордину-Нащокину очень нравилась. Он склонялся поддержать Мефодия в борьбе с Брюховецким. Иван Мартынович всю старается угодить великому государю, но у него распря не только со священством, его ненавидят в малороссийских городах, ибо отдает горожан во власть казачьего своеволия. Киевский воевода Чаадаев казаков в город не пускает.

Ордин-Нащокин думал о Чаадаеве, а мысли уплывали.

И встал перед глазами Воин, сын. Столько беды наделал, сбежав к полякам, но не мог Афанасий Лаврентьевич о надежде своей, уже не сбывшейся, плохое в сердце держать. Видел Воина ясноглазым, с лицом, напряженным мыслью.

Вздыхнул: умному да честному – в России горькая доля.

Но ушедший из России – для России мертвец.

20

Старец Григорий, в валенках, в шубе, с посошком, пришел в Хорошево. Царь в Хорошеве праздновал день памяти чудотворца Николая Угодника.

Церковь открыта для царя и для последнего нищего. Увидевши перед собою монаха, Алексей Михайлович узнал в нем Ивана Неронова.

– К тебе пришел, грамотку принес! – поклонился царю старец.

– Жду тебя после службы, – сказал Алексей Михайлович.

В царских покоях Неронова сначала угостили пирогом с калиной, стерляжьей ущицей и только потом привели к царю.

– Ругаться пришел? – спросил Алексей Михайлович несердито.

– По глазам, что ли, угадал?

– Да ты всегда ругаешься. От тебя похвалы вовек не услышишь. Русский ты человек, Иван. Про доброе молчок, а про худое всю ярость напоказ.

– Я был Иваном, да стал иноком Григорием.

– Много ли умерился твой нор в иноках? Давай твою грамоту. Чай, все обличаешь меня?

– Нет, великий государь, подаю тебе не обличение, а моление слезное. Возврати, Бога ради, батьку Аввакума да бедных его горемык, жену, детишек, домочадцев... Гонением чело века не умиротворишь. Дозволь ему, протопопу, быть со мной на Саре, в пустыни моей. Неразлучно там пребудем, плача о грехах своих.

Алексей Михайлович челобитную принял, но ничего Григорию не сказал об Аввакуме.

– Прочитаю после. Что на словах-то принес? Казни! Нынче кто только не казнит своего царя – и помыслами, и словесно.

– Так уж и казнят! За худое о тебе слово языки режут, руки рубят. Народ о царе молчит, великий государь.

Алексей Михайлович вздохнул, сглотнул комочек обиды.

– Коли народ молчит, говори ты, твой язык, знаю, не червив от лжи, со смирением тебя выслушаю.

Неронов глянул на царя из-под бровей, но улыбнулся вдруг.

– Сам ведь знаешь, о чем скажу. Долго ли ты будешь нянчиться с отступником Никоном? Он хоть и не в Москве, а неустройство плодит, как жаба злодыханная, на все твое пречистое царство – смрад.

– Господи, старец Григорий! Как тебе не страшно такие слова говорить?

– Мне страшно, царь! Погибель православия страшна. Освободи Церковь от цепей Никонных.

– Я о том плачу и молюсь... В патриархи Бог ставит...

– Да разве не можешь ты вернуть прежние правила, какие Никон самовольно поправил? Архиереи твоего слова ждут как манны небесной. Утром скажешь, а вечером уж придет в храмы благодатное успокоение. Единой молитвой, единым дыханием обрадуем Иисуса Христа.

– Ты говоришь «Исус», а надо «Иисус».

– Да почему же «Иисус», когда отцы наши «Исус» говорили?

– В старых книгах и так и этак писано, но ученые богословы наставляют: Иисус – правильно. Языку легче сказать «Иисус».

– Ишь, затруднение какое! Не мудрствуй попусту, великий государь. Никон сам от многих своих новин отшатнулся, понял, что латиняне его уловили. Да сделай же ты доброе добрым!.. Святитель Николай, чудотворец великий, тебя просит. Ведь в его день стою пред твоими очами, говорю тебе, свету нашему. – Упал в ноги вдруг. – Великий государь! Слух идет: собираешься воротить Никона. Упаси тебя Боже поддаться уговорам! Много беды сделалось, а будет вдесятеро.

– Ступай себе, старец Григорий! – сказал Алексей Михайлович. – Молись обо мне, грешном. Мне говоришь: не мудрствуй, так то и для тебя добре. Что Бог даст, то и будет. Благослови.

Благословил государя старец Григорий, пошел от царя, не зная, что и думать. Во дворе Григория в санки посадили, отвезли в Москву.

Над Москвою висла морозная сизая дымка, тоска разливалась над кровлями. Что-то должно было случиться.

21

Перед Никоном лежало письмо Никиты Алексеевича Зюзина.

Привезли письмо 11 декабря, на Никона Сухого – бери в ум – на Никона, – и вот уж занимается утро семнадцатого дня, когда празднуют память пророка Даниила, трех святых отроков – Анании, Азарии, Мисаила, не сгоревших в пламени огромной печи, и еще мученика Никиты... Бери в ум – Никита, мирское имя святейшего.

«Являлись ко мне Афанасий и Артемон и сказывали: 7 декабря у Евдокеи в заутреню наедине говорил с нами царь, – писал Зюзин. – Душою своею от патриарха, ей, я не отступен... Как пошел, так и придет – его воля, я, ей-ей, в том ему не противен. А мне к нему нельзя о том отписать, ведая его нрав: в сердцах на архиереев и на бояр не удержится, скажет, что я ему велел приехать, или по письму моему откажет, и мне то будет, конечно, в стыд...»

Письмо пространное, но главное – указано число, когда надобен в Москве: «Только бы пожаловал, изволил патриарх прийти к 19 декабря к заутрене в соборную церковь, прежде памяти чудотворца Петра».

Не поедешь – опростоволосишься, и поедешь – себе на стыд.

– Чего дождусь, сидя? – спросил себя Никон и открыл Псалтирь.

Прочитал: «Боже! Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя».

Открыл книгу в другой раз: «В Твоей руке дни мои: избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих».

В третий раз указал перстом в строку, и было сказано: «И возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил нечестивых».

Положил три поклона перед иконами, вышел к келейникам:

– Собирайтесь в дорогу. Помолимся да и поедем.

Куда – не сказал, но все поняли, преисполнились потаенной надежды и ужаса.

С отправлением святейший все медлил, надевал и снимал шубу и наконец решился – позволил облечь себя в легкий песцовый тулуп.

Ехали неспешно, поездом из семи саней. Ночь застала в дороге. Старый тающий месяц не светил, на небе властвовала хвостатая звезда, пророчица великих бед. В селе Чернове остановились, давая отдых себе и лошадям. Никон приказал подать бумагу, перо, чернила. Взглядом выставил всех за дверь. Как написал, так и поехали. Перед заставой вдруг веселым голосом стал рассказывать о родном Вальдеманове.

– Сегодня день Никиты, а я ведь Никита... В Вальдеманове у нас двенадцать святых ключей. Господи, чего нам не живется на родине милой?

Никита, однако, миновал, шли первые часы нового дня. Никон сообразил это и сказал:

– Ведь уж, чай, восемнадцатое! – И обрадовался: – Есть и на восемнадцатое кому за нас заступиться. Сегодня Софья Чудотворица. Я, Божьей милостью, – крестный царевны Софьи.

У заставы поезд окликнули:

– Кто едет?

– Власти Саввина монастыря, – лукаво ответил с первых саней патриарший боярский сын.

Пропустили без досмотра, без лишних слов. Поезд направился в Кремль. Остановились возле большого колокола.

Монахи сбрасывали тулупы, строились парами. Никон окинул взглядом белеющие на белом снегу колокольню Ивана Великого, Архангельский собор, радость души – Благовещенскую церковь, прикрыл глаза перед Грановитой палатой, резко и быстро вышел из саней, трижды поклонился Успенскому собору.

– С Богом!

Монахи подняли крест, пошли.

Заутреню служил Ростовский митрополит Иона. Читали вторую кафизму[58]: «Господи, кто обитает в жилище Твоем?»

Распахнулись двери, в клубах морозного пара явился крест и чередою вошли в собор монахи. Стали у патриаршего места. Двери снова распахнулись, и явился народу Никон, в черной рясе, огромный, сосредоточенный в молитве. Прихожане не то чтобы шептаться, дышать не смели. Тяжко скрипнул под ногой святейшего порожек патриаршего места.

Поддьяк, хоть и видел краем глаза пришествие, продолжал читать псалом, лепеча и не вникая в смысл слов:

– «Иже не ульсти языком своим и не сотвори искреннему своему зла...»

– Перестань читать! – раздался ясный, сильный голос Никона, и многие вздрогнули, вспомнив этот голос, трепет продрал спины под шубами.

Монахи, пришедшие с Никоном, запели «Ис полла эти деспота» и, закончив, уже вместе с прихожанами сотворили молитву «Достойно есть».

– Говори ектенью[59], – приказал Никон соборному дьякону и пошел прикладываться к иконам, к мощам. Священство и митрополит Иона, местоблюститель патриарший, стояли, пораженные, не зная, как быть.

Никон вернулся на патриаршее место, возгласил молитву «Владыко многомилостиве» и послал своего монаха к Ионе, звать под патриаршьё благословение.

Лицо у Ионы дрогнуло. Вода бровками вверх-вниз, пошел он, растерянный, покорный, к зовущему и благословился.

За митрополитом, без мешканья, потянулись соборный протопоп, священники, дьякон, поддьякон, причт.

– Ступай к великому государю, – сказал Никон Ионе, – возвести ему о моем приходе.

Иона взял с собою соборного ключаря Иова, и поспешили в Терем, в домашнюю дворовую церковь во имя святой Евдокии, где стаивал заутрени Алексей Михайлович.

Служба в соборе продолжалась, но была она как эхо, ибо все – служащие, молящиеся, бывшие и пришедшие – думали об одном: что же теперь будет?

Один Никон был спокоен, и видели его спокойствие. Стоял перед иконами Феофана Грека, смотрел на белые сияющие одежды Господа Вседержителя, на золотую руку Его, благословляющую, стоял и ждал.

22

Алексей Михайлович убирал догорающие свечи, ставил новые. 18 декабря – день сильных и страстных: мученика Севастьяна, обличителя язычества, патриарха Иерусалимского Модеста, восстановившего разрушенный персами и иудеями храм Гроба Господня, преподобного Севастьяна Пошехонского, молившегося в русском городе Романове, святой Софии Чудотворицы.

Тихо было на душе Алексея Михайловича. Близился праздник Рождества, душа, трудясь, приготавливалась к радости.

Служил заутреню Лукьян Кириллович, голос у него был басовитый, громовитый. Алексей Михайлович любил с ним петь.

Пламя только что зажженной свечи от нежданного потока воздуха припало, погасло.

Царь недовольно повернулся и увидел Иону и Иова.

– Великий государь, Никон пришел, – шепотком сказал митрополит.

– Никон? – не понял Алексей Михайлович.

– В соборную церковь пришел, на патриаршем месте стоит.

– Никон?! – прошептал Алексей Михайлович.

– Послал нас к тебе объявить о своем приходе.

– Боже ты мой! – Свеча выпала из рук. – Лукьян Кириллович, ты слышишь?

– Слышу, великий государь, – Никон пришел.

– Бегите, собирайте... Сюда собирайте, в Евдокию, архиереев, бояр... Кто есть близко. – Алексей Михайлович нагнулся поднять свечу, но ничего не видел, пощупал рукою, не нашел, забыл, чего искал. – Да бегите же вы!

Пошел, сел на лавку у стены...

– Гляди-ко! Гляди-ко! – говорили возницы Никонова санного поезда, указывая на царский дворец.

По окнам, с крыльца вниз-вверх метались огни. Великий переполох приключился в царевом гнезде.

С факелами мчались куда-то всадники. Через малое время катили ко дворцу кареты, санки. Все, кто подъезжал, не шествовали, но бежали.

В домашнюю церковь Святой Евдокии сошлись из духовенства: митрополит Крутицкий Павел, митрополит Газский Паисий Лигарид, Сербский Федор, Ростовский Иона, духовник государя Лукьян Кириллович, из бояр князь Никита Иванович Одоевский, Петр Михайлович Салтыков, князя Юрий Алексеевич да Дмитрий Алексеевич Долгорукие, окольный Родион Матвеевич Стрешнев, Федор Михайлович Ртищев, Богдан Матвеевич Хитрово, думные дьяки, комнатные люди разных чинов, и среди них Артамон Сергеевич Матвеев.

Все стояли, Алексей же Михайлович сидел.

– Никон пришел, – сказал он спешному совету, – в Успенском, на патриаршем месте стоит. Народ к нему под благословение кинулся.

– Как?! – изумился митрополит Павел. – Как он проник?

– Не знаю, – сказал царь. – Да ведь патриарх! Кто его смеет не пускать? Делать-то теперь что?

– Ах ты Боже мой! – ахал Павел. – Ах ты Боже мой!

– Его до света нужно выпроводить из Москвы, – сказал Паисий Лигарид. – На том происшествие и закончится.

Все посмотрели на царя.

– Пойдите спросите, зачем святейший пришел... к нам! – вдруг рассердясь, закричал Алексей Михайлович.

– Кому идти-то? – спросил Одоевский.

– Ты уж сам сходи, Никита Иванович.

– Дозволь и мне послужить тебе, – поклонился Юрий Алексеевич Долгорукий.

– Спасибо тебе, князь... Полным чином ступайте, Родион Матвеевич пусть идет да дьяк Алмаз Иванов. Скажите ему: пусть возвращается к себе, пусть идет в монастырь.

Когда Никон увидел перед собой присланных царем, понял: судьба решена. Улыбнулся, перекрестил пришедших, не благословляя, но как бы от них открещиваясь.

С вопросом к патриарху обратился Стрешнев:

– Ты оставил Патриарший престол самовольством и присылал сказать царю, что в патриархах тебе не быть. Ты съехал жить в Воскресенский монастырь, и о том великий государь написал вселенским патриархам. Скажи, для чего ты приехал в Москву, пришел в соборную церковь, стал на патриарше место без ведома великого государя, без благословения всего святейшего собора? Ступай в свой монастырь.

Никон перекрестился на икону Вседержителя.

– Я сошел с престола никем не гоним, ныне же пришел на мой престол никем не званный. А для чего? Да чтобы великий государь кровь утолил и мир учинил. Не бегаю я, грешный, от суда вселенских патриархов. Воротило меня на престол явление чудное и страшное... Я не чаял видеть лицо великого государя, письмо вот написал о видении. Передайте письмо своему господину.

– Без ведома великого государя, – сказал Одоевский, – ты сам знаешь, письма твоего взять не можем.

– Так известите его царское величество о письме, о страхе моем!

– Известим, – согласился Одоевский.

Посланники царя удалились.

Разлилась тишина под высокими сводами великого храма. Тишина пуше грома громадная, пуше грома потрясает душу.

У Алексея Михайловича живец в коленке сидел, нога тряслась мелкой мерзкой трясунницей.

– Письмо, Никита Иванович, возьми. Только пусть тотчас садится в сани, едет не мешкая. До свету чтоб его в Москве не было.

Множество глаз единым взором встретили в соборе царских послов, проводили к Никону.

– Великий государь приказал объявить тебе прежнее, – сказал князь Одоевский, – шел бы ты не мешкая, до света, в Воскресенский монастырь. Письмо же твое велено принять.

– Коли приезд мой великому государю не надобен, то я покорно исполню волю властей, пойду в мой монастырь, но говорю вам, синклиту и царю: не выйду из церкви, покуда на мое письмо не будет отповеди.

– Отповедуем, коли царь укажет, – сказал Никита Иванович. И приняв грамоту, понес во дворец.

– Ох, как непросто с ним! – искренне пожаловался боярам и духовенству Алексей Михайлович. – Читайте скорее! Ртищев! Федор Михайлович! У тебя голос чистый, ясный, прочти, чтоб все слышали.

Ртищев развернул свиток:

– «Слыша смятение и молву великую о патриаршеском столе, одни так, другие иначе говорят: развращенная, – каждый, что хочет, то и говорит, – слыша это, удалился я 14 ноября в пустыню вне монастыря на молитву и пост, дабы известил Господь Бог, чему подобает быть. Молился я довольно Господу Богу со слезами, и не было мне извещения. С 13 декабря уязвился я любвию Божиею больше прежнего, приложил молитву к молитве, слезы к слезам, бдение к бдению, пост к посту и постился даже до семнадцатого дня, не ел, не пил, не спал, лежал на ребрах, утомившись, сидел с час в сутки. Однажды, севши, сведен я был в малый сон – и вижу: стою я в Успенском соборе, свет сияет большой, но из живых людей нет никого, стоят одни усопшие святители и священники по сторонам, где гробы митрополичьи и патриаршие. И вот один святолепный муж обходит всех других с хартиєю[60] и киноварницею[61] в руках, и все подписываются. Я спросил у него, что они такое подписывают. Тот отвечал: о твоём пришествии на святой престол. Я спросил опять: а ты подписал ли? Он отвечал – подписал, и показал мне свою подпись: смиренный Иона, Божиею милостию митрополит. Я пошел на свое место и вижу: на нем стоят святители! Я испугался, но Иона сказал мне: не ужасайся, брате, такова воля Божия – взыди на престол свой и паси словесные Христовы овцы. Ей-ей так, мне Господь свидетель о сем. Аминь. Обретаюсь днесь в соборной церкви...»

– Довольно, – сказал Алексей Михайлович. – Ишь, какое видение ему подоспело. Да не тот я, что прежде... Самому видения бывают, так молчу... Впрочем, дочитай, Федор Михайлович. Дочитай все до конца, на том и кончим.

Ртищев читал, но голос плыл мимо ушей, злая кровь переполняла государю сердце: «Сколько он дурил меня своими снами».

– «...Мы не корчемствуем слово Божие, но от чистоты яко от Бога пред Богом о Христе глаголем, ни от прелести, ни от нечистоты, ниже лестию сице глаголем, не яко человеком угождающе, но Богу, искушающему сердца наша. Аминь», – закончил Ртищев чтение.

– Аминь, – сказал Алексей Михайлович, радуясь власти, зазвеневшей в его голосе. – Пусть тотчас поднимается и уезжает. Ступайте объявите ему, а ты, князь Дмитрий Алексеевич, подойди ко мне.

В Успенский собор объявить царскую волю отправился митрополит Павел Крутицкий с духовенством, с боярами.

Смятение в соборе иссякло, очередное пришествие послов народ встретил шепотом, хождением.

Павел стал перед Никоном и, не поклонившись, сказал:

– Письмо твое великому государю донесено. Власти и бояре чтение слушали, а ты, патриарх, ступай из соборной церкви в Воскресенский монастырь тотчас.

Никон перекрестился, пошел прикладываться к образам, увидел посох Петра-митрополита и взял.

В дверях путь ему загородили бояре.

– Оставь посох!

– Отнимите силой! – грянул на весь собор Никон и прошел через бояр, как через воздух.

Подойдя к саням, принялся отрясать ноги, возглашая:

– «Иде же аще не приемлют вас, исходя из града того, и прах, прилипший к ногам вашим, отрясите во свидетельство на ня».

Стрелецкий полковник глумливо засмеялся:

– Мы этот прах подметим!

– Да разметет Господь Бог вас оною божественною метлою, иже является на дни многи! – гневно прорек Никон, указывая властной рукою в небо, на хвостатую небесную звезду.

Повалился в сани, которые тотчас же и тронулись. Поскакали конные, впереди, позади. С одной стороны патриарших саней скакал князь Дмитрий Алексеевич Долгорукий, с другой – Артамон Сергеевич Матвеев. За Земляным городом поезд остановился. Долгорукий спешился, подошел к саням.

– Великий государь велел у тебя, святейшего патриарха, благословения и прощения просить.

– Бог его простит, если не от него смута.

– Какая смута? – встревожился Дмитрий Алексеевич.

– Я по вести приезжал, – сказал Никон. – Трогайте, трогайте! Прочь от сего града. Прочь!

23

Похрапывали на сильном морозе лошади. Выцветала ночная тьма, растворялись скопища звезд, но сияла, вздыбившись, Большая Медведица, а пуще семизвездья – бродячая хвостатая гостья.

Никон, утонув в пушистом тулупе, глядел на комету, и губы его сами собой шептали: «Господи, помилуй!»

В Чернове снова остановились – подремать, дать отдых лошадям, переждать лютость утреннего мороза.

Никону постелили постель. Он лег, закрыл глаза и, когда уже все подумали, что спит, сказал:

– Сам Бог нас предупреждает: звезду прислал, а мы все неистовствуем...

И заснул.

Вдруг – скрипы снега, топот, хлопанье дверей.

– Святейший, тебя зовут! – разбудил Никона келейник.

Приехали Павел Крутицкий, чудовский архимандрит Иоаким, Родион Стрешнев, Алмаз Иванов.

– Отдай посох святителя Петра! – потребовал Павел.

– Бедные, сколько вас на посылках у великого государя!

– Мы рады быть на посылках у его царского величества! – ответил Павел.

– Оттого и сидишь в Кремле. Ныне кто не на посылках – изгнанник.

– Нам велено спросить тебя, святейший, – сказал Стрешнев, – по каким это вестям ты в Москву приезжал? Кем зван?

– Приезжал не самовольно, письмо мне было. А посоха я вам не отдам. Отдал бы, да некому. Я оставил патриарший престол на время за многие внешние нападения и по досаде...

– Досаду свою при себе держи, а посох верни подбру! – погрозил Павел.

– А ты кто такой?! – воззрился на него Никон, упершись кулаками в колени. – Попа Павла знал, а вот митрополита Павла не ведаю. Кто тебя в митрополиты ставил? Вор и еретик Паисий Лигарид? Нет, не ведаю Крутицкого митрополита Павла. Посоха тебе, самозванцу, не отдам. И со своими не пришлю на поругание. А кто мне весть прислал, объявлю, когда время придет. Вот оно, письмо!

Достал с груди, показал.

Тут приезжие сели на лавки, начали говорить многие слова, укоряя, умоляя, убеждая. Просидели этак весь день, до полуночи. Изнемог святейший.

– Довольно слов! Вся изба словами набита, того и гляди крышу сорвет. Посох и письмо сам отошлю великому государю. Смирюсь, но и сам жду ответного смирения. Знаю, посланы к вселенским патриархам многие гонцы. Царь просит святейших решить дело об отшествии моем. Челом бью! Так и передайте великому государю: Никон челом бьет! Пусть свет наш Алексей Михайлович отзовет посланников. Я же обещал и теперь обещаюсь – на патриарший престол не возвращаться. Молю Бога, чтоб даровал избрание нового патриарха на мое место. Обещался и теперь обещаюсь ни в какие патриаршие дела не вступаться. Буду жить в монастыре, выстроенном по указу великого государя. Одного желаю: пусть новопоставленный патриарх надо мной никакой власти не имеет. Считал бы меня братом. Да не оставил бы меня великий государь милостями, чтоб было мне чем пропитаться до смерти. А век мой не долгий! Мне уже близко шестьдесят лет.

Тотчас был снаряжен монах, который повез царю письмо Зюзина, посох и нижайшую просьбу государю о дозволении бедному Никону помолиться Богородице в Ее великом храме да видеть государевы очи.

Царские посланники наконец-то отправились в Москву.

Никон глаз в ту ночь не сомкнул, молился, ходил в местную церковь на заутреню, служил обедню.

В полдень вернулся от царя монах и с ним все тот же Родион Стрешнев.

Суровы были царские слова:

– «В Москву тебе, патриарх, ехать непристойно. В народе ныне молва многая о разностях в церковной службе, о печатных книгах и о твоём приезде в Успенский собор. Жди теперь всякий соблазн среди православных. И из-за того все, что оставил ты престол своей волей, а не по изгнанию. Ради всенародной молвы и смятения изволь ехать назад в Воскресенский монастырь. Вот придут вселенские патриархи, тогда тебе дадут знать, чтоб и ты приезжал на собор».

Никон выслушал Стрешнева, глядя поверх голов, и было его лицо покойно. Ничего не сказал в ответ. Но когда Родион Матвеевич подошел испросить благословения для великого государя и для себя, заблестали слезы в глазах святейшего, заблестали, да не пролились.

24

Никон, водворясь в свой монастырь, совершал службы, жестоко постился перед Рождеством, а в Москве уже трещали косточки: шло следствие по делу боярина Зюзина. Пытали тех, кто возил письма Никону и от Никона. Пытали самого Зюзина. Строгим допросам подвергся Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин и вину свою признал:

«Каюсь, для слез Никиты Алексеевича, двора своего перед ним не запираю, хотя был мне указ великого государя в шестьдесят втором году не знаться с Зюзиным. В том я перед великим государем виноват, достоин казни и без повеления великого государя к исповеди и причастию сего декабря 24-го числа приступить не смею».

Ордин-Нащокин был царю надобен, его простили, а вот Зюзина боярский суд приговорил к смертной казни

Долго ли голову отрубить! Да ради Рождества и, как написано в указе, по просьбе царевичей, Алексея да Федора, великий государь царь Алексей Михайлович помиловал смутителя, приказал сослать в Казань. Записать его там в службу, а поместья и вотчины взять в казну. Московский двор и все имущество оставили, однако, горемыке на прокормление.

Хлипок был на расправу Алексей Михайлович. Боясь гнева царицы, приспособился не сразу наказывать своих обидчиков, никуда ведь не денутся.

Юродивого Киприана, подавшего челобитную Аввакума, схватили во дворе Федосьи Прокопьевны Морозовой уже после Рождества.

В ту пору жил у боярыни в отдельной келейке прокаженный Федот Стефанов, нищий, книгочей, знавший Писание на память.

Ходила за Федотом Анна Амосова, служанка боярыни из самых приближенных.

В страшную келью, уповая на святую силу, сходились тайно ревнители старого благочестия. Готовились к приезду вселенских патриархов. Выписывали из Евангелия, из книг святых отцов слова истины. Уповали истребить ересь никонианскую на грядущем соборе.

Может, не больно-то и нужен был царским людям простосердечный Киприан. Зимой и летом, весной и осенью ходит голым по пояс, себя мучает. Ну и ладно... Нагрязнула воинская команда в келью Федота, будто бы по ошибке, ища Киприана. Забрали все книги, все рукописи. И уже на другой день явились к Федосье Прокопьевне чудовский архимандрит Иоаким с ключарем Петром. Подали ей просфору своей новой стряпни – не приняла. Принялись увещевать, бережно, ласково.

– Бедный ты, бедный, – сказала Федосья Прокопьевна Иоакиму, – знаю, чего так хлопчешь, тебе души надобны. Постригался ты в Киеве, где церковью правят иезуиты. Жил в Иверском монастыре, не Богу служа, но еретику Никону. Был у царского лизоблюда Павла ключарем, а ныне уж архимандрит. Глядишь, и до патриарха доскачешь. Но запомни: вся твоя служба будет прахом и дело твое – прахом же!

Не рассердился Иоаким. Уходил, как пришел, терпеливый, ласковый. Вот только хозяин его норовом был много круче. В тот же день небось объявил царь-государь вдове боярыне Федосье Прокопьевне свой указ: за неистовое упрямство и чтоб в ум пришла, взять у нее, записать на имя царское вотчины Глеба Ивановича Морозова – село Порецкое да село Семеновское Аргуновской волости.

Две тысячи душ убыло у боярыни, у сына ее Ивана Глебовича.

Плакала.

А приехала служить Марии Ильиничне, ни единым словечком не обмолвилась о потере.

– Крепкая ты, – сказала ей Мария Ильинична, обнимая и целуя. – Сердит ныне Алексей Михайлович. Царь сердит, да Бог милостив. Терпи, развеются тучи.

– Терпеть – вдовье дело. Мне бы только сына вырастить. Женю – отрекусь от мира. Боязно мне, добрая моя государыня. Сны и те страшные снятся.

– Что же тебе снилось?

– Вши. Облепили мою бедную голову, под каждым волосом зудело.

– Да ведь это добрый сон! – обрадовалась царица. – Видеть вши к золоту, к серебру, к большим деньгам.

– Ну и слава Богу, – легко согласилась Федосья Прокопьевна.

Воротившись домой, она перед вечернею нарядилась в рубище и, взявши мешок с мелкими деньгами, с Анной Амосовой пошла по ближним церквам раздавать казну. Не подумала, что сия раздача – царю вызов и укор: он взял, а она по-прежнему сыплет нищим серебро...

Только не до царя было Федосье Прокопьевне: сын хворал. За сына просила молиться, подавая милостыню. И еще просила за изгнанника, за батюшку Аввакума.

25

Светоносные трубы архангелов стояли на небе от края до края. Звуков не было, но лились из труб дивные радуги красоты неизреченной.

– Батька, я сейчас рожу! – прошептала Анастасия Марковна, притягивая к себе Аввакума за белую, в инее, бороду.

– Подожди, матушка! Господи, подожди! – просил Аввакум. – Эй! Эй! Скоро ли Мезень-то?!

Полозья под нартой аж посвистывали, не езда – лёт, да только версты белой пустыни немереные.

– Эй! – кричал Аввакум, задыхаясь от жгучего воздуха.

Самоед, который вез Акулину с Ксенией, пошевелил своих оленей, догнал Аввакума.

– Скоро, батька, Мезень.

– Баба у меня родить собирается.

– Ничего, батька! Родит так родит. Положи дитя себе в малицу, не замерзнет.

– Эх ты! – махнул рукой Аввакум. – Господи, смилуйся!

Смилостивился.

Почти успели. С нартами, бегом занесли Анастасию Марковну в съезжую избу. Еще и дверь за собой не закрыли, закричало дитя новорожденное.

– Живехонек! – радовалась младенцу повитуха, присланная воеводшей. – Малец-молodeц!

Воевода Алексей Христофорович Цехановецкий, хоть и служил уж так далеко, что дальше некуда, на краю Ледовитого моря, душу и сердце свое не заморозил. Аввакума и двенадцать его горемык с новорожденным велел поставить в просторной, теплой избе.

– Держать вас долго не смею, – сказал воевода, – но пока крестьяне пришлют подводы, хоть роженица в себя придет...

– Как младенца-то везти? – тряс головою Аввакум.

Алексей Христофорович вздыхал, разводил руками.

– Медвежьи шкуры вам дам. Может, и доvezете. Не знаю... От Мезени до Пустозерска три раза, как от Мезени до Холмогор. И вся зима впереди.

– Ох, недаром, видно, родился бедный мой сын в день памяти мучеников-младенцев, от Ирода в Вифлееме избивенных.

– Бог милостив! – сочувствовал воевода.

Да как же не милостив! Взбунтовались крестьяне: ни прогонных денег не дали на подъем тринадцати опальных, ни лошадей. В крещенские морозы в Пустозерск ехать – все равно что в прорубь кинуться.

Воевода бунту обрадовался, послал царю отписку о том, что протопоп Аввакум с семейством, с домочадцами прибыл в Мезень 29 декабря, а также об отказе крестьян дать деньги и подводы до Пустозерска, испрашивал позволения поставлять «корм» ссыльным.

Аввакум тоже написал челобитие, умоляя не гнать из Мезени, не погубить новорожденного Афанасия. Нарек протопоп сына именем даурского воеводы, мучителя своего, ибо раскаялся Афанасий.

– А ведь Пашков-то помре! – узнав, в честь кого назван новорожденный, сообщил Алексей Христофорович.

– Как помре?! Я его перед высылкой постриг.

– Помре! Мне о том двинский воевода писал, князь Осип Иванович Щербатов.

– Чего ради жил человек?! – пришел в сокрушение Аввакум. – Терзал людей, не боясь Бога, а как убоился – помер.

Вышел от Цехановецкого протопоп, молился о душе Афанасия Филипповича под небесными всполохами, на заснеженной земле, объятай долгой зимней ночью. И вывел Господь на небесах письмена, букву «аз». Страшно стало Аввакуму: хвостатая звезда, письмена хвостатые. Велика и непроницаема тайна студеных земель на краю студеного моря... И не тщись разгадывать, о прощении моли.

Глава третья

1

Зима – сон, да мышка проснулась. Пробежала от куста до куста, цепочка следов протаяла до земли, загулькала младенцем вода под снегом. А как поднялся, как расцвел в проталине подснежник, так и снега не стало.

Вчера грачу радовались, зарянкам душа подпевала, а уже соловьи гремят над убывающим половодьем.

В Иверском Валдайском монастыре – детище святейшего Никона – случилось весной чудо.

Когда иеродьякон на всенощной возгласил моление о святейшем патриархе, возликовала из алтаря, грянула соловьиная сладкоголосая трель. Изумились знамению иноки, а птаха на радость братии выпорхнула через Царские врата и села на патриаршее место, на кровлю. Тут и пришла несчастная мысль: поймать соловья, отвезти в Новый Иерусалим святейшему. Принесли лестницу, служка изловчился, накрыл птаху шапкой, а соловей в шапке и не встрепыхнулся. Умер.

Прочитал Никон письмо из Иверской обители о соловье, побледнел.

– Пел я Господу песнь, как птица... Скоро, знать, умолкну. Не о соловье сия весть – о конце моего служения.

Молиться ушел в заалтарный придел Лонгина-сотника, недостроенный, никак не украшенный. Лонгин – свидетель величайших тайн Господа Бога. Это он стоял с воинами на Голгофе у подножия Креста. Он пронзил копьем ребра Спасителю, пресек страдание. Видел Лонгин Святое Воскресение, и он же отверг золото иудеев, желавших купить лжесвидетельство о похищении тела Господа учениками Иисуса Христа.

– И мне было дано копье! – ужасался Никон. – И я стоял у Голгофы и у Гроба Господня на страже, но сам – сам! – положил копье на землю. Ушел самочинно с назначенного начальником места.

Обхватя руками голову, кинулся прочь, но в «Гефсимании» опамятовался. Вспомнил мужика, приходившего за благословением с женщицей со своего поля.

– Господи! Все ты взял у меня, у недостойного! Велик был дар. Поддай же хоть кроху от бывшего моего счастья честному сеятелю! Да будет его нива, как у того работника, которому господин вручил пять талантов!

Принялся читать молитвы, но не растопил камень на сердце. Не было святого огня в словах. Об иноках Валдайского монастыря раздумался. Что за глупые люди! Кинулись соловья ловить. Мало им было чуда? Пожелали чудо в клетку посадить.

– Тебе, тебе угождая!

Биться бы головой о стены, пока не заплачут. Так ведь не заплачут. Самому зарыдать – глаза сухие, как песок в пустыне.

Осенило.

– Не послать ли царевичу просфору?

Встрепенулся, но тотчас понял – за соломинку хватается. Не дойдет просфора до Алексея Алексеевича. Пришлют Матвеева допрос чинить. Распри, мол, затеваешь? Между отцом и сыном?

Гетман Брюховецкий на ум пришел. Вот она, последняя надежда, – помириться с царем через приязнь малороссов. Брюховецкий просит на митрополию русского владыку, чтоб духовенство не кидалось к полякам за маетностями, платя двоедушим...

Гетман собирается в Москву руку царю целовать. Не грех ему помянуть о Никоне. Кто был первым ходатаем по казацким делам? Кто подвиг царя принять Малороссию под его великую руку? От истребления спас?

Духовная бесплодная немочь надсадила сердце Никону, вышел из храма простоватый, как никогда. Тут к нему, прося благословения, подскочил странник, вязниковский поп Василий Федоров. Неказистый, рыжий, озабоченный.

– Благослови, святейший! Выслушай! Беда у нас за Клязьмой. Соблазн и невежество!

– Говори! – сказал Никон.

– Здесь? – опасливо покосился поп на монахов.

– Коли ты с доносом, так не туда пришел. С доносом к царю ступай.

Несчастный поп перекрестился.

– Тайна моя не больно велика. Уходят люди в лесные самочинные обители, ложатся в гроба, морят себя голодом до смерти. Конца света ждут.

– Кто же смущает православных? Не Капитон ли?

– Все тебе ведомо, святейший! – изумился поп Василий. – Сам Капитон пропал, то ли помер, то ли в иные страны ушел. Но се люди напали на моих прихожан! Иконы признают только старые, мощам святых поклоняться не велят. Дескать, вся их сила пропала! Просфоры твоего благословения отвергают, говорят, на них не крест честной, а крыж.

– Просфоры с четвероконечным крестом даны нам от святых праотцов наших. Восемиконечный крест – невежественное новшество, – сказал Никон. – Много ли заблудших?

– Много, святейший! Наша слобода совсем запустела. Конца света люди ждут. Грядущий год от Рождества Христова – 1666-й. Три шестерки кряду – число сатаны.

– Господи! Закрывать бы глаза да бежать от сей дурости! Ступай к царевым архиереям, поп! Дураков надо кнутами сечь, а я за бедных только и могу, что молиться да плакать перед Господом.

Осенил попа Василия крестным знаменем и пошел в келью, приказав никого не пускать к себе, никакими делами не тревожить.

2

Поп Василий Федоров, не получив от Никона ни помощи, ни доброго благословения, отправился за правдой в Москву. Мирские власти круто взялись за батюшку-доносчика. Пришлось написать извет на беглых крестьян, ушедших от своих господ в дворцовые села. О раскольниках приказные слушали, но дела не заводили. Наконец привел Бог к митрополиту Крутицкому Павлу. Тут и записали со слов попа Василия извет не только на раскольников, но и на местное священство.

Обидно было батюшке! Служил послушно, как приказывали царь, патриарх, московские архиереи, а народ от него шарахается. В его неделю служб пусто в храме. Богу печаль, а служащим скудная жизнь.

Извет вязниковского попа гласил: «За рекою за Клязьмою в бору поселились незнамо какие люди – старцы и бельцы, и келии поставили, и в земле норы поделали, и в церкви Божии не ходят. И которые у них помирают – без причастия и без покаяния. И тех у церкви Божии не погребают, а погребают в лесу без попа, сами. И про церкви Божии говорят, что-де от церкви святыня отошла, и называют церкви простыми храминами и не велят никому в церкви ходить и причастия принимать не велят... А про те пустыни ведает Вязниковской слободы покровский протопоп Меркурий Григорьев и Благовещенского монастыря игумен Моисей. И к тем

людям они ходят, и служат они по старым служебникам, и церкви освящают и антимины[62] пришивают к срачицам[63] под индитию[64]. А кто по новым служебникам служит, и он, игумен, и протопоп на исповедь к тем священникам ходить не велят. А в Введенском девичьем монастыре стариц двести с лишком, и как-де он, поп Василий, служит по новым служебникам и на его-де неделях никто не причащается из стариц, а товарищ его поп Лев Матвеев служит по старым служебникам, и старицы на его неделях и причащаются».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.